

Лев Николаевич

Толстой

Христианство и патриотизм

(1893–1894 гг.)

Государственное издательство

художественной литературы

Москва – 1956

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 39–го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 39-му тому

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYУ, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYУ FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-

томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ХРИСТИАНСТВО И ПАТРИОТИЗМ

Франко–русские празднества, происходившие в октябре месяце прошлого года во Франции, вызвали во мне, вероятно так же как и во многих людях, сначала чувство комизма, потом недоумения, потом негодования, которые я и хотел выразить в короткой журнальной статье; но, вдумываясь всё более и более в главные причины этого странного явления, я пришел к тем соображениям, которые и предлагаю теперь читателям.

I

Люди русские и французские жили много столетий, зная друг друга, входя иногда в дружеские, большею частью, к сожалению, в очень враждебные, вызываемые их правительствами, отношения друг с другом, и вдруг оттого, что два года тому назад французская эскадра прибыла в Кронштадт, и офицеры эскадры, вышедши на берег, в разных местах много ели и пили разного вина, выслушивая при этом и произнося много лживых и глупых слов, и оттого, что в 1893 году такая же русская эскадра прибыла в Тулон, и офицеры русской эскадры в Париже много ели и пили, выслушивая и произнося при этом еще больше лживых и глупых слов, сделалось то, что не только те люди, которые ели, пили и говорили, но и все те, которые присутствовали при этом, и все те даже, которые не присутствовали при этом, но только слышали и читали

в газетах про это, все эти миллионы людей русских и французских вдруг вообразили себе, что они как-то особенно любят друг друга, т. е. все французы всех русских, и все русские всех французов.

Чувства эти выражались во Франции в прошедшем октябре самым необыкновенным образом.

Вот как описывается встреча русских моряков в «Сельском вестнике», газете, собирающей свои сведения из всех других.

«При встрече судов русских и французских те и другие, кроме пушечных выстрелов, приветствовали друг друга горячими, восторженными криками «ура», «да здравствует Россия», «да здравствует Франция!»

«К этому присоединились хоры музыки (бывшие на многих частных пароходах), исполнявшие гимны – русский «Боже, царя храни» и французский «Марсельезу»; публика на частных судах махала шляпами, флагами, платками и букетами цветов; на многих барках были одни крестьяне и крестьянки со своими детьми, и у всех в руках были букеты цветов, и даже ребята, махая букетами, кричали что было мочи: «вив ля Рюсси». Наши моряки, видя такой восторг народный, не могли удержаться от слез.

«В гавани были выстроены в две линии все французские военные суда, находившиеся в Тулоне, и наша эскадра проходила между ними: впереди шел адмиральский броненосец, а за ним остальные. Наступила чрезвычайно торжественная минута.

«С русского броненосца последовало пятнадцать пушечных выстрелов в честь французской эскадры, а в ответ французский броненосец дал двойное число выстрелов – тридцать. С французских судов грянули звуки русского гимна. Французские матросы взбираются на реи и мачты; громкие клики приветствий безостановочно льются с обеих эскадр и с частных судов; шапки матросов, шляпы и платки публики – всё это восторженно поднимается кверху в честь дорогих гостей. Отовсюду с воды и с берега гремит один общий возглас: «да здравствует Россия, да здравствует Франция!»

«Согласно морскому уставу, адмирал Авелан с офицерами, своего штаба высадился на берег, чтобы приветствовать местных властей. На пристани русских моряков встретили французский главный морской штаб и старшие офицеры тулонского порта. Последовали общие дружеские рукопожатия при громе пушек и звоне колоколов. Хор морской музыки исполнил гимн «Боже, царя храни», покрытый громовыми кликами публики: «да здравствует царь!» «да здравствует Россия!» Эти клики слились в один могучий гул, покрывший и музыку и пушечную пальбу.

«Очевидцы сообщают, что в эту минуту восторг несметной массы народа достиг высочайшей степени и словами невозможно передать, какими ощущениями переполнились сердца всех здесь присутствующих. Адмирал Авелан, с обнаженной головой и в сопровождении русских и французских офицеров, отправился в помещение морского управления, где его ожидал французский морской министр».

Принимая адмирала, министр сказал:

« – Кронштадт и Тулон – это два места, которые свидетельствуют о сочувствии между русским и французским народами; вы будете везде встречены, как сердечные друзья, Правительство и вся Франция поздравляют вас с приездом и ваших спутников, представляющих «великий и благородный народ».

Адмирал ответил, что он не в силах выразить всю свою благодарность. «Русская эскадра и вся Россия, – сказал он, – будут признательны за ваш прием». После краткого разговора, прощаясь с министром, адмирал вторично благодарил его за прием и прибавил: «Не хочу с вами расставаться, пока не произнесу тех слов, которые начертаны в сердцах всех русских людей: «да здравствует Франция!»[1]

Такова была встреча в Тулоне; в Париже встреча и празднества были еще удивительнее.

Вот как описывается в газетах встреча в Париже:

«Все взоры направлены на бульвар des Italiens, откуда должны появиться русские моряки. Издали доносится, наконец, гул целого урагана восклицаний и аплодисментов. Гул становится сильнее, явственнее. Ураган видимо приближается. На площади происходит сильнейшее движение. Полицейские бросаются расчищать дорогу к «Cercle militaire», но это оказывается делом далеко не легким. В толпе поднялась невообразимая толкотня и давка... Наконец, на площади появляется голова кортежа. В тот же момент над ней проносится оглушительный крик: «Vive la Russie! Vive les russes!»[2] Все обнажают головы, публика, битком набившаяся в окнах, на балконах, разместившаяся даже на крышах, машет платками, флагами, шляпами, ожесточенно аплодирует, бросает из окон верхних этажей облака небольших разноцветных кокард. Целое море платков, шляп, флагов волнуется над головами толпы, стоящей на площади. «Vive la Russie! Vive les russes!» – кричит эта стотысячная толпа, стараясь получше рассмотреть дорогих гостей, протягивая к ним руки и всячески выражая свои симпатии». [3] Другой корреспондент пишет, что восторг толпы граничил с бредом. Один русский публицист, бывший в то время в Париже, описывает это шествие моряков следующим образом:

«Правду говорят – событие всемирное, изумительное, трогательное до слез, поднимающее душу, заставляющее ее трепетать той любовью, которая видит в людях братьев и которая ненавидит кровь и насильственные присоединения, отторжение родных детей от любимой матери. Я в каком-то чаду в течение нескольких часов. Мне было странно, почти непосильно стоять на станции Лионской железной дороги среди представителей французской администрации в золотом шитых мундирах, среди муниципалитета во фраках и слышать крики: «Vive la Russie! Vive le czar!» и наш народный гимн, исполняемый несколько раз сряду. Где я? что такое случилось? какая волшебная струя соединила всё это в одно чувство, в один разум? Разве не чувствуется тут присутствие бога любви и братства, присутствие чего-то высшего, идеального, сходящего на людей только в высокие минуты? Сердце так полно чем-то прекрасным и чистым и возвышенным, что перо не в

состоянии всего этого выразить. Слова бледны перед тем, что я видел, что я чувствовал. Это не восторг, слово это слишком банально, – это лучше восторга. Живописнее, глубже, радостнее, разнообразнее. Нельзя описывать того, что было у «Cercle militaire», когда появился на балконе второго этажа адмирал Авелан. Тут слова ничего не скажут. Во время молебна, когда певчие пели в церкви «Спаси, господи, люди твоя», в открытые двери врывались торжественные звуки «Марсельезы» духового оркестра, который играл на улице. Что-то изумительное по впечатлению, непередаваемое». [4]

II

Приехавши во Францию, русские моряки в продолжение двух недель переходили с праздника на праздник и в середине или по окончании всякого праздника ели, пили и говорили. И сведения о том, где и что они ели и пили в среду, и где и что в пятницу, и что при этом говорили, по телеграфу сообщалось всей России. Как только который-нибудь из русских капитанов пил за здоровье Франции, так это тотчас становилось известным миру, и как только русский адмирал говорил: «пью за прекрасную Францию!», слова эти тотчас же разносились по всему миру. Но мало того, заботливость газет была такова, что сообщались не только тосты, но и меню обедов, с пирожками и закусками, которые потреблялись на обедах.

Так в одном № газеты было сказано, что обед представлял изящное произведение:

Consommé de volailles, petits pâtés.

Mousse de homard parisienne.

Noisette de boeuf à la béarnaise.

Faisans à la Périgord.

Casseroles de truffes au champagne.

Chaufroid de volailles à la Toulouse.

Salade russe.

Croûte de fruits toulonnaise.

Parfaits à l'ananas.

Desserts. [5]

В следующем № было сказано:

И в кулинарном отношении обед не оставлял желать ничего лучшего: меню было следующее:

Potage livonien et S.-Germain.

Zéphyr Nantua.

Esturgeon braisé moldave.

Selle de daquet grand veneur[6] и т. д.

В следующей газете описывается опять новое меню. При каждом меню описывались еще подробно и те напитки, которые поглощали все празднующие: такая-то «вудка», такое-то Bourgogne vieux, Grand Moët[7] и т. п. В английской газете было перечисление всех тех пьяных напитков, которые были поглощены во время этих празднеств. Количество это так огромно, что едва ли все пьяницы России и Франции могли бы выпить столько в такое короткое время.

Сообщались и речи, произносимые празднующими, но меню было разнообразнее речей. Речи состояли неизменно из одних и тех же слов в различных сочетаниях и перемещениях. Смысл этих слов был всегда один и тот же: мы нежно любим друг друга, мы в восторге, что мы вдруг так нежно полюбили друг друга. Цель наша не война и не revanche[8] и не возвращение отнятых провинций, а цель наша только мир, благоденствие мира, обеспечение мира, спокойствие и мир Европы. Да здравствует русский император и императрица, мы любим их и любим мир. Да здравствует президент республики и его супруга, мы тоже любим их и любим мир. Да здравствует Франция, Россия, их флот и их армия. Мы любим и армию, и мир, и начальника эскадры. Речи большей частью заканчивались, как в куплетах словами: Тулон, Кронштадт или Кронштадт, Тулон. И наименование этих мест, где было так много съедено разных кушаний и выпито разного вина, произносились как слова, напоминающие самые высокие, доблестные поступки представителей обоих народов, такие слова, после произнесения которых уже говорить нечего, потому что всё понятно. Мы любим друг друга и любим мир, Кронштадт, Тулон! Что еще можно прибавить к этому?! особенно под звуки торжественной музыки, играющей одновременно два гимна: один – прославляющий царя и просящий у бога для него всяких благ, другой – проклинающий всех царей и обещающий им всем погибель.

Людам, особенно хорошо выражавшим свои чувства любви, давались ордена и награды, некоторым же людам за те же заслуги, или просто от избытка чувств, подносились подарки самые странные и неожиданные: так, русскому царю французская эскадра поднесла в подарок какую-то золотую книгу, в которой, кажется, ничего не написано, а если и написано, то нечто такое, чего никому знать не нужно, а начальнику русской эскадры, в числе других подарков, еще более удивительный предмет – соху из алюминия, покрытую цветами, и много других таких же неожиданных подарков.

Кроме того, все эти странные поступки сопровождались еще более странными религиозными обрядами и общественными молитвами, от

которых, казалось бы, уже давно отвыкли французы. Едва ли со времен Конкордата было совершено столько общественных молитв, сколько в это короткое время. Все французы стали вдруг необыкновенно набожны и заботливо развешивали в комнатах русских моряков те самые образа, которые они только недавно так же старательно, как вредное орудие суеверия, выносили из своих школ, и не переставая молились. Кардиналы и епископы везде предписывали молитвы и сами молились самыми странными молитвами. Так, епископ в Тулоне, при спуске броненосца «Жоригибери», молился богу мира, давая чувствовать при этом однако, что если что, то он может обратиться и к богу войны.

«Какова будет судьба его, – сказал епископ, говоря о спускаемом броненосце, – один бог только ведает, будет ли он извергать смерть из ужасающих недр своих – неизвестно.

Но если бы, призвав ныне бога мира, нам пришлось впоследствии призвать и бога брани, мы твердо уповаем, что «Жоригибери» пойдет на врага рука об руку с могучими судами, экипажи коих вступили ныне в столь близкое братское единение с нашими. Но да минует нас эта перспектива, да оставит настоящее празднество только мирное воспоминание, как воспоминание о великом князе Константине (Константин Николаевич был в Тулоне в 1857 г.), который здесь же присутствовал на спуске корабля «Квиринал», и да сделает дружба Франции с Россией из этих двух наций хранителей мира...»

Между тем десятки тысяч телеграмм перелетали из России во Францию и из Франции в Россию. Французские женщины приветствовали русских женщин. Русские женщины выражали свою благодарность французским женщинам. Труппа русских актеров приветствовала французских актеров, французские актеры сообщали, что они закладывают себе глубоко в сердце приветствие труппы русских актеров. Русские кандидаты на судебные должности, состоящие при окружном суде какого-то города, изъявляли свой восторг французской нации. Генерал такой-то благодарил г-жу такую-то, г-жа такая-то уверяла в своих чувствах к русской нации генерала такого-то; русские дети писали приветственные стихи французским детям, французские дети отвечали стихами и прозой; русский министр просвещения свидетельствовал министру французского просвещения о чувствах внезапной любви к французам всех подведомственных ему русских детей, ученых и писателей; члены общества покровительства животным свидетельствовали свою горячую привязанность французам; о том же заявляла казанская дума.

Каноник Аррарской епархии заявлял высокопреподобному протопресвитеру русского придворного духовенства, что он может утверждать, что в сердцах всех французских кардиналов и архиепископов глубоко запечатлена любовь к России и к его величеству Александру III и его августейшей фамилии и что французские и русские священники исповедуют, почти одну и ту же веру и одинаково чтут пресвятую деву. На что, высокопреподобный протопресвитер отвечал, что молитвы французского духовенства за августейшую фамилию радостно отзывались в сердцах всего русского царелюбивого народа и что, так как русский народ также чтит пресвятую деву, то и может рассчитывать на Францию на жизнь и смерть. О том же почти заявляли разные генералы, телеграфисты и торговцы бакалейными товарами. Все кого-то с чем-то

поздравляли, кого-то за что-то благодарили.

Возбуждение было так велико, что совершались самые необычайные поступки, но никто не замечал их необычайности, а напротив, все одобряли их, восхищались ими и, как будто боясь опоздать, торопились каждый совершить поскорее какой-нибудь такого же рода поступок, чтобы не отстать от прочих. Если слышались высказываемые и даже писанные и печатные против этих беснований протесты, указывающие на неразумность их, то протесты эти скрывались или заглашались. [9]

Не говоря уже о всех миллионах рабочих дней, потраченных на эти празднества, на повальное пьянство всех участвующих, поощряемое всеми властями, не говоря о бессмысленности произносимых речей, совершались самые безумные и жестокие дела, и никто не обращал на них внимания.

Так задавлено было до смерти несколько десятков людей, и никто не находил нужным упоминать об этом. Один корреспондент писал, что француз сказал ему на бале, что теперь едва ли найдется одна женщина в Париже, которая не изменила бы своим обязанностям для удовлетворения желания какого-либо русского моряка, и всё это проходило незамеченным, как нечто такое, что так и должно быть. Появлялись случаи и ясно выраженного бешенства. Так одна женщина, одевшись в платье из цветов французско-русского флагов, дождалась моряков, воскликнула «Vive la Russie!» и с моста прыгнула в реку и потонула.

Женщины вообще во всех этих торжествах играли выдающуюся роль и даже руководили мужчинами. Кроме бросания цветов и разных ленточек и поднесения подарков и адресов, французские женщины на улицах бросались на русских моряков и целовали их, некоторые для чего-то подносили им детей, предлагая целовать их; когда русские моряки исполняли это желание, то все присутствующие приходили в восторг и плакали.

Странное возбуждение это было так заразительно, что, как рассказывает один корреспондент, казавшийся совершенно здоровым русский матрос, после двухнедельного созерцания всего совершавшегося вокруг него, – в середине дня спрыгнул с корабля в море, и поплыл, крича: «виф ля Франс!» Когда его вытащили и спросили, зачем это он сделал, он отвечал, что дал зарок в честь Франции оплыть кругом корабля.

Таким образом, ничем не нарушаемое возбуждение росло и росло, как ком катящегося мокрого снега, и доросло, наконец, до того, что не только присутствующие, не только предрасположенные, слабонервные, но сильные, нормальные люди подпали общему настроению и пришли в ненормальное состояние.

Помню, что я, в рассеянии читая одно из таких описаний торжества приема моряков, вдруг неожиданно почувствовал сообщившееся мне чувство, подобное умилению, даже готовность к слезам, так что должен был сделать усилие, чтобы побороть это чувство.

III

Недавно профессор психиатрии Сикорский описал в Киевских университетских известиях исследованную им, как он называет это, психопатическую эпидемию малеванщины, проявившуюся в некоторых деревнях Васильковского уезда Киевской губернии. Сущность этой эпидемии состояла, по словам г-на Сикорского, в том, что некоторые люди этих деревень под влиянием их руководителя, по фамилии Малеванного, вообразили себе, что в скором времени должен наступить конец мира, и, изменив вследствие этого весь свой образ жизни, стали раздавать свое имущество, наряжаться, сладко есть и пить и перестали работать. Профессор нашел положение этих людей ненормальным. Он говорит: «Необыкновенное благодушие их переходило часто в экзальтацию, радостное состояние, лишенное внешних мотивов. Они настроены были сентиментально; учтивы до утрировки, говорливы, подвижны, с легко наступающими и столь же легко и бесследно исчезающими слезами радости.

Они продавали необходимое, чтобы обзавестись зонтиками, шелковыми платками и т. п. принадлежностями, и к тому же платки служили для них только как туалетное украшение. Они много ели сладостей. Настроение их духа всегда было жизнерадостное, и жизнь они вели совершенно праздничную: посещали друг друга, гуляли вместе... При указании им на явно нелепый характер их отказа от работы можно было каждый раз получить в ответ стереотипную фразу: «захочется – буду работать, не захочется – зачем стану себя принуждать?!»

Ученый профессор считает состояние этих людей явно выраженным случаем психопатической эпидемии и, советуя правительству принять некоторые меры против распространения ее, заканчивает свое сообщение словами: «Малеванщина есть вопль заболевшего населения и мольба об освобождении от вина и об улучшении образования и санитарных условий».

Но если малеванщина есть вопль заболевшего населения и мольба об освобождении от вина и от вредных общественных условий, то какой же ужасающий вопль заболевшего населения и какая мольба об избавлении его от вина и от ложных общественных условий есть эта новая болезнь, появившаяся в Париже и с ужасающей быстротой охватившая большую часть городского населения Франции и почти всю правительственную и господскую цивилизованную Россию?

И если признать то, что психопатическое страдание малеванщины опасно и что правительство хорошо сделало, последовав совету профессора, устранив руководителей малеванцев заключением некоторых из них в сумасшедшие дома и монастыри и ссылкой некоторых в отдаленные места, то насколько более опасной должно признать эту вновь появившуюся в Тулоне и Париже и оттуда распространившуюся по всей Франции и России новую эпидемию, и насколько необходимее, если не правительству, то обществу принять решительные меры против распространения таких

эпидемий.

Сходство между тою и другою болезнью полное. То же необыкновенное благодушие, переходящее в беспричинную и радостную экзальтацию, та же сентиментальность, утрированная учтивость, говорливость, те же беспрестанные слезы умиления, приходящие и проходящие без причины, то же праздничное настроение, то же гуляние и посещение друг друга, то же наряжание себя в самые нарядные платья, то же пристрастие к сладкой еде, те же бессмысленные речи, та же праздность, то же пение и музыка, то же руководство женщин и та же для многих клоуническая фаза *attitudes passionnelles*, которую заметил г-н Сикорский у малеванцев, т. е., как я понимаю это слово, те различные, ненатуральные позы, которые принимают люди во время торжественных встреч, приемов и произнесения речей во время обедов.

Сходство совершенное. Разница только в том, и разница огромная для того общества, в котором происходят эти явления, что там это помешательство нескольких десятков мирных, бедных деревенских жителей, живущих своими небольшими средствами и потому не могущих совершить никакого насилия над своими соседями и заражающих других только посредством личной и изустной передачи своего настроения, здесь же – это помешательство миллионов людей, обладающих огромными суммами денег и средствами насилия над другими людьми: ружьями, штыками, крепостями, броненосцами, меленитами, динамитами и, кроме того, имеющими в своем распоряжении самые энергические средства распространения своего помешательства: почту, телеграфы, огромное количество газет и всякого рода изданий, наперерыв печатающих и разносящих их заразу во все концы мира. Разница еще в том, что первые не только не напиваются пьяны, но не употребляют никаких хмельных напитков, вторые же находятся постоянно в полупьяном состоянии, которое они не переставая в себе поддерживают. И потому для общества, в котором происходят такие явления, между киевской эпидемией, во время которой, по сведениям г-на Сикорского, не видно, чтобы было совершено какое-либо насилие, убийство, и той, которая появилась в Париже, где при одном шествии задавлено более 20 женщин, разница та же, какая была бы между тем, что из печки выскочил уголек и теплится на полу, который, очевидно, не загорится от него, и огнем, который захватил уже двери и стены дома. В худшем случае последствия киевской эпидемии будут состоять в том, что крестьяне одной миллионной части России проживут то, что они нажили своим трудом, и окажутся несостоятельными для уплаты казенных податей. Последствия же от эпидемии тулонско-парижской, захватившей людей, обладающих страшной властью, огромными суммами денег, орудиями насилия и распространения своего помешательства, – могут и должны быть ужасны.

IV

Можно с жалостью выслушивать тот вздор, который болтает слабый,

старый, безоружный сумасшедший в своем колпаке и халате, даже и не противоречить и шутя даже потакнуть ему, но когда это целая толпа здоровенных сумасшедших, вырвавшихся из своего заключения, и толпа эта обвешена с головы до ног острыми кинжалами, саблями и заряженными револьверами и в азарте размахивает этими смертоносными орудиями, — нельзя уже не только потакать им, но и быть на минуту спокойным. То же и с тем состоянием возбуждения, вызванного франко-русскими празднествами, в котором находится теперь французское и русское общество. Ведь люди, подпавшие теперь психопатической эпидемии, находятся в обладании самых страшных орудий убийства и истребления.

Правда, что во всех речах, во всех тостах, произносимых во время этих празднеств, во всех статьях об этих празднествах неуклонно говорилось о том, что значение всего совершающегося состоит в обеспечении мира. Даже сторонники войны говорили не о ненависти к отторгающим провинции, а о какой-то любви, которая как-то ненавидит.

Но известна хитрость всех людей, одержимых душевными болезнями, и это-то самое упорное повторение того, что мы не хотим войны, а хотим мира, и умалчивание о том, о чем все думают, и составляет самое угрожающее явление.

В своем ответном тосте на обеде в Елисейском дворце русский посол сказал: «Прежде нежели провозгласить тост, на который отзовутся из самой глубины сердец не только все, находящиеся в этих стенах, но также и с той же силой и все те, чьи сердца вдали и вблизи на всех пунктах великой, прекрасной Франции, равно как и всей России, бьются в настоящую минуту в унисон с нашими, — позвольте мне принести вам выражение глубокой нашей благодарности за приветственные слова, обращенные вами к адмиралу, на которого царь возложил поручение отдать кронштадтский визит. При том высоком значении, которым вы пользуетесь, слова ваши характеризуют истинное значение великолепных мирных торжеств, празднуемых с таким замечательным единодушием, лояльностью и чистосердечием».

То же ничем не оправдываемое упоминание о мире находится и в речи французского президента: «Узы любви, связывающие Россию и Францию, — сказал он, — и два года назад скрепленные трогательными манифестациями, которых наш флот был предметом в Кронштадте, с каждым днем становятся теснее, и честный обмен наших дружественных чувств должен вдохновить всех тех, кто принимает к сердцу благодеяния мира, доверия и безопасности» и т. д.

И в той и другой речи совершенно неожиданно и без всякого повода говорится о благодеяниях мира и о мирных торжествах.

То же самое и в телеграммах, которыми обменялись русский император и французский президент. Русский император телеграфирует:

«Au moment où l'escadre russe quitte la France, il me tient à coeur de vous exprimer combien je suis touché et reconnaissant de l'accueil chaleureux et splendide, que mes marins ont trouvé partout sur le sol français. Les témoignages de vive sympathie quelles sont

manifestés encore une fois avec tant d'éloquence, joindront un nouveau lien à ceux qui unissent les deux pays et contribueront, je l'espère, à l'affermissement de la paix générale, objet de leurs efforts et de leurs vœux les plus constants»[10] и т. д.

Французский президент в своей ответной телеграмме говорит:

«La dépêche dont je remercie votre majesté m'est parvenue au moment où je quittais Toulon pour rentrer à Paris. Le belle escadre sur laquelle j'ai eu la vive satisfaction de saluer le pavillon russe dans les eaux françaises, l'accueil cordial et spontané que vos braves marins ont rencontré partout en France, affirment une fois de plus avec éclat les sympathies sincères qui unissent nos deux pays. Ils marquent en même temps une foi profonde dans l'influence bienfaisante que peuvent exercer ensemble deux grandes nations dévouées à la cause de la paix».[11]

Опять в обеих телеграммах ни к селу ни к городу упоминается о мире, не имеющем ничего общего с празднествами моряков.

Нет ни одной речи, ни одной статьи, в которых не говорилось бы о том, что цель всех этих бывших оргий есть мир Европы.

За обедом, который дают представители русской прессы, все говорят о мире. Г-н Зола, который недавно писал о том, что война необходима и даже полезна, и г-н Вогюэ, который не раз печатно высказывал то же, не говорят ни слова о войне, а говорят только о мире. Заседания палат открываются речами о прошедших празднествах, ораторы утверждают, что празднества эти суть объявление мира Европе.

Точно как человек, пришедший в мирное общество и усердно уверяющий при всяком случае присутствующих, что он вовсе не имеет намерения никому выбивать зубы, подбивать глаза и ломать руки, а имеет намерение только мирно провести вечер. «Да никто в этом и не сомневается, – хочется ему сказать. – Если же вы имеете такие гнусные намерения, то по крайней мере не смейте говорить их нам».

Во многих статьях, писанных о празднествах, даже прямо и наивно высказывается удовольствие о том, что во время празднеств никем не было выражено то, что *tacitu consensu*[12] решено было скрывать от всех и что только один неосторожный человек, тотчас же убранный полицией, крикнул то, что думали все, а именно «*A bas l'Allemagne!*»[13] Так дети иногда так рады, что они скрыли свою шалость, что самая радость эта выдает их.

Да зачем же так радоваться тому, что никто ничего не сказал о войне, если мы точно не думаем о ней?

Никто не думает о войне, но только миллиарды тратятся на военные приготовления и миллионы людей находятся под ружьем в России и Франции.

«Но это всё делается для обеспечения мира, *si vis pacem para bellum*. *L'empire c'est la paix, la république c'est la paix*».[14] Но если так, то для чего же у нас в России не только во всех журналах и газетах, издаваемых для так называемых образованных людей, выясняются военные выгоды нашего союза с Францией на случай войны с Германией, но и в Сельском Вестнике, газете, издаваемой русским правительством для народа, внушается этому несчастному, обманываемому правительством народу, что «дружить с Францией и для России тоже полезно и выгодно, потому что если бы паче чаяния упомянутые державы (Германия, Австрия, Италия) решились нарушить мир с Россией, то хотя она и одна с божьей помощью могла бы постоять за себя и справиться с весьма могущественным союзом противников, но было это бы нелегко и для успешной борьбы понадобились бы большие жертвы и потери» и т. д.[15]

И для чего же во всех французских коллежах преподается история по учебнику, составленному г-м Лависсом, 21 издание 1889 г., в котором значится следующее:

«Depuis que l'insurrection de la Commune a été vaincue, la France n'a plus été troublée. Au lendemain de la guerre, elle s'est remise au travail. Elle a payé aux Allemands sans difficultés l'énorme contribution de guerre de cinq milliards. Mais la France a perdu sa renommée militaire pendant la guerre de 1870. Elle a perdu une partie de son territoire. Plus de quinze cents mille hommes, qui habitaient nos départements du Haut Rhin, du bas Rhin et de la Moselle, et qui étaient de bons français, ont été obligés de devenir Allemands. Ils ne sont pas résignés à leur sort. Ils détestent l'Allemagne; ils espèrent toujours redevenir Français. Mais l'Allemagne tient à sa conquête, et c'est un grand pays, dont tous les habitants aiment sincèrement leur patrie et dont les soldats sont braves et disciplinés. Pour reprendre à l'Allemagne ce qu'elle nous a pris, il faut que nous soyons de bons citoyens et de bons soldats. C'est pour que vous deveniez de bons soldats, que vos maîtres vous apprennent l'histoire de la France. L'histoire de la France montre que dans notre pays les fils ont toujours vengé les désastres de leurs pères. Les français du temps de Charles VII ont vengé leurs pères vaincus à Crècy, à Poitiers, à Azincourt... C'est à vous, – enfants élevés aujourd'hui dans nos écoles, qu'il appartient de venger vos pères, vaincus à Sedan et à Metz. C'est votre devoir, le grand devoir de votre vie. Vous devez y penser toujours»[16] и т. д.

Внизу страницы стоит ряд вопросов, соответствующих параграфам. Вопросы следующие: «Что утратила Франция при потере части своей территории? Сколько французов сделалось немцами при потере этой территории? Любят ли эти французы Германию? Что должны мы делать для того, чтобы возвратить когда-нибудь отнятое у нас Германией?»... Кроме того, есть еще «*Reflexions sur le livre VII*», [17] в которых

говорится, что «дети Франции должны памятовать о наших поражениях 1870 г.», что «они должны чувствовать на сердце тяжесть этого воспоминания», но что «это воспоминание не должно их обескураживать: оно, напротив, должно возбуждать в них храбрость».

Так что если в официальных речах и говорится с большой настойчивостью о мире, то народу, молодым поколениям, да и вообще всем русским и французам под рукою неуклонно внушается необходимость, законность, выгодность и даже доблесть войны.

«Мы не думаем о войне. Мы только заботимся о мире».

Хочется спросить: *qui, diable, trompe-t-on ici?*[18] если бы еще нужно было это спрашивать и не было слишком ясно, кто этот несчастный обманутый.

Обманутый этот, всё тот же вечно обманутый, глупый рабочий народ, тот самый, который своими мозолистыми руками строил все эти и корабли, и крепости, и арсеналы, и казармы, и пушки, и пароходы, и пристани, и молы, и все эти дворцы, залы и эстрады, и триумфальные арки, и набирал и печатал все эти газеты и книжки, и добыл и привез всех тех фазанов, и ортоланов, и устриц, и вина, которые едят и пьют все эти им же вскормленные, воспитанные и содержимые люди, которые, обманывая его, готовят ему самые страшные бедствия; всё тот же добрый, глупый народ, который, оскаливая свои здоровые белые зубы, зевал, по-детски наивно радуясь на всяких наряженных адмиралов и президентов, на развевающиеся над ними флаги и на фейерверки, гремющую музыку, и который не успеет оглянуться, как уже не будет ни адмиралов, ни президентов, ни флагов, ни музыки, а будет только мокрое пустынное поле, холод, голод, тоска, спереди убивающий неприятель, сзади неотпускающее начальство, кровь, раны, страдания, гниющие трупы и бессмысленная, напрасная смерть.

А люди, такие же, как те, которые теперь празднуют на празднествах в Тулоне и Париже, будут сидеть после доброго обеда, с недопитыми стаканами доброго вина, с сигарою в зубах, в темной суконной палатке и булавками отмечать по карте те места, где надо оставить еще столько-то и столько-то составленного из этого народа пушечного мяса для завладения тем-то и тем-то укреплением и для приобретения такой или другой ленточки или чина.

VI

«Но ничего этого нет и нет никаких воинственных замыслов, — отвечают нам на это. — Есть только то, что два народа, чувствующие взаимную симпатию, друг другу выражают эти чувства. Что тут дурного, что представители дружественной нации были: приняты с особенной торжественностью и почетом представителями другой нации? Что тут дурного, даже если и допустить, что союз может иметь значение

обороны против угрожающего миру Европы опасного соседа?»

Дурно тут то, что всё это ложь, самая очевидная и наглая, ничем не оправдываемая, злая ложь. Ложь – эта внезапно возникшая, исключительная любовь русских к французам и французам к русским; и ложь – наша подразумеваемая под этим нелюбовь к немцам, недоверие к ним. И еще большая ложь – то, что цель всех этих неприличных и безумных оргий есть будто бы соблюдение европейского мира.

Все мы знаем, что никакой особенной любви к французам мы не испытывали ни прежде, ни теперь не испытываем, точно так же как и то, что мы не испытывали и не испытываем никакой враждебности к немцам.

Нам говорят, что Германия имеет замыслы против России, что тройственный союз угрожает миру Европы и нам и что наш союз с Францией уравнивает силы и потому обеспечивает мир. Но ведь утверждение это так явно глупо, что совестно серьезно опровергать его. Ведь для того, чтобы это было так, т. е. чтобы союз обеспечивал мир, нужно, чтобы силы были математически равны. Если же перевес теперь на стороне франко-русского союза, то опасность всё та же. Еще большая: потому что, если было опасно, что Вильгельм, стоящий во главе европейского союза, нарушит мир, то гораздо более опасно, что Франция, та, которая не может помириться с потерей своих провинций, сделает это. Ведь тройственный союз назывался лигой мира, для нас же он был лигой войны. Точно так же и теперь франко-русский союз не может не представляться иначе, как тем, чем он и есть на самом деле – лигой войны.

И потом, если мир зависит от равновесия сил, то как определить те единицы, между которыми должно установиться равновесие? Теперь англичане говорят, что союз России с Францией угрожает им, и им потому нужно составлять новый союз. И насколько именно единиц союзов должна быть разделена Европа, чтобы было равновесие? Ведь если это так, то в каждом обществе людей более сильный человек, чем другой, уже есть опасность, и остальным нужно складываться в союзы, чтобы противодействовать ему.

Спрашивают: «Что тут дурного, что Франция и Россия выразили свои взаимные симпатии для обеспечения мира?» – Дурно то, что это ложь, а ложь никогда не говорится и не проходит даром.

Дьявол – человекоубийца и отец лжи. И ложь всегда ведет к человекоубийству. И в этом случае очевиднее, чем когда-нибудь.

Ведь точно так же, как и теперь, так и перед турецкой войной будто бы возгорелась вдруг внезапная любовь наших русских к каким-то братьям славянам, которых никто не знал в продолжение сотен лет, тогда как немцы, французы, англичане всегда были и продолжают быть нам несравненно ближе и роднее, чем какие-то черногорцы, сербы, болгары. И начались такие же восторги, приемы и торжества, раздувавшиеся Аксаковыми и Катковыми, которых поминают уже теперь в Париже, как образцы патриотизма. Тогда, как и теперь, говорили только о взаимной внезапно вспыхнувшей любви между русскими и

славянами. Сначала точно так же, как теперь в Париже, тогда в Москве пили, ели, говорили друг другу глупости, умилялись на свои возвышенные чувства, говорили об единении и мире и умалчивали о главном, о замыслах против Турции. Газеты раздували возбуждение; в игру понемногу вступало правительство. Поднялась Сербия. Начались дипломатические ноты, полуофициальные статьи; газеты всё более и более лгали, выдумывали, горячились, и кончилось тем, что Александр II, действительно не желавший войны, не мог не согласиться на нее, и совершилось то, что мы знаем: погибель сотен тысяч невинных людей и озверение и одурение миллионов. То, что делалось в Тулоне и Париже и теперь продолжает делаться в газетах, очевидно ведет к такому же или еще ужаснейшему бедствию. Точно так же сначала будут под звуки «Боже, царя храни» и «Марсельезы» пить разные генералы и министры за Францию, Россию, за разные полки, армии и флоты; будут печатать свое лганье газеты, будет праздная толпа богатых людей, не знающих, куда девать свои силы и время, болтать патриотические речи, раздувая враждебность к Германии, и как бы ни был миролюбив Александр III, сложатся такие обстоятельства, что ему нельзя будет отказаться от войны, которой будут требовать все окружающие его, все газеты и, как это всегда кажется, общественное мнение всего народа. И не успеем мы оглянуться, как на столбцах газет появится обычное зловещее, нелепое провозглашение:

«Божьей милостью, мы, самодержавнейший, великий государь всея России, царь польский, великий князь финляндский и проч. и проч., объявляем всем нашим верным подданным, что для блага этих, вверенных нам богом, любезных наших подданных, мы сочли своей обязанностью перед богом послать их на убийство. С нами бог» и т. п.

Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки – ленты, кресты, галуны, звезды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.

И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей – люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного.

И когда наберется столько больных, раненых и убитых, что некому

будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно делается даже и начальству, тогда останутся на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароят, посыпав их известкой, и опять поведут всю толпу обманутых еще дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли всё это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им было нужно.

И опять одичают, остервеенеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их.

VII

И потому, когда являются такие патриотические проявления, как тулонские празднества, хотя и издавна как будто, но уже вперед связывающие волю людей и обязывающие их к тем обычным злодеяниям, которые всегда вытекают из патриотизма, всякий понимающий значение этих празднеств не может не протестовать против всего того, что молчаливо включено в них. И потому когда господа журналисты печатают, что все русские сочувствуют тому, что делалось в Кронштадте, Тулоне и Париже, что этот союз на жизнь и смерть закреплен волею всего народа, и когда русский министр просвещения уверяет французских министров, что вся его команда – русские дети, ученые и писатели разделяют его чувства, или когда начальник русской эскадры уверяет французов, что вся Россия будет признательна им за их прием, и когда протопресвитеры отвечают за своих пасомых и уверяют, что молитвы французов за жизнь августейшего дома радостно отозвались в сердцах русского царелюбивого народа, и когда русский посланник в Париже, считающийся представителем русского народа, говорит после блюда *ortolans à la soubise et logorépés glacées* с бокалом шампанского *grand Moët* в руке, что все русские сердца бьются в унисон с его сердцем, преисполненным внезапной и исключительной любовью к прекрасной Франции (*la belle France*), – то мы, свободные от одурения люди, считаем своей священной обязанностью не только за себя, но и за десятки миллионов русских людей, самым решительным образом протестовать против этого и заявить, что сердца наши не бьются в унисон с сердцами г-д журналистов, министров просвещения, начальников эскадр, протопресвитеров и послов, и, напротив, переполняются негодованием и омерзением к той вредной лжи и тому злу, которые они сознательно или бессознательно распространяют своими поступками и речами. Пускай они пьют *Moët*, сколько им угодно, и пишут статьи и произносят речи от себя и за себя, но мы, все христиане, сознающие себя таковыми, не можем допустить того, что всё то, что говорят и пишут эти люди, связывает нас. Не можем допустить

этого потому, что мы знаем, что кроется под всеми этими пьяными восторгами, речами и объятиями, похожими не на закрепление мира, как уверяют нас, а скорее на те оргии и пьянства, которым предаются злоумышленники, готовясь на совместное преступление.

VIII

Года четыре тому назад, – первая ласточка тулонской весны – один известный французский агитатор в пользу войны с Германией приезжал в Россию для приготовления франко–русского союза и был у нас в деревне. Он приехал к нам в то время, как мы работали на покосе. Во время завтрака мы, вернувшись домой, познакомились с гостем, и он тотчас же рассказал нам, как он воевал, был в плену, бежал из него и как дал себе патриотический обет, которым он, очевидно, гордился: не перестать агитировать для войны против Германии до тех пор, пока не восстановится целостность и слава Франции.

В нашем кругу все убеждения нашего гостя о том, как необходим союз России с Францией для восстановления прежних границ Франции и ее могущества и славы и для обеспечения нас от зловредных замыслов Германии, не имели успеха. На доводы его о том, что Франция не может успокоиться до тех пор, пока не вернет отнятых провинций, мы отвечали, что точно так же Пруссия не может успокоиться, пока не отплатила за Иену и что, если revanche французов теперь будет удачная, немцам надо будет опять отплачивать, и так без конца.

На доводы его, что французы обязаны спасти оторванных от себя братьев, мы отвечали, что положение жителей, большинства жителей, рабочих жителей Эльзас–Лотарингии под властью Германии едва ли в чем–нибудь стало хуже того, в котором они были под властью Франции, и что из–за того, что некоторым эльзасцам приятнее числиться за Францией, чем за Германией, и из–за того, что ему, нашему гостю, желательно восстановить славу французского оружия, никак не стоит не только начинать тех страшных бедствий, которые произойдут от войны, но нельзя пожертвовать даже и одной человеческой жизнью.

На доводы же его о том, что хорошо нам говорить так, когда мы не испытали того же, но что мы заговорили бы иначе, если бы у нас отняты были Остзейские провинции, Польша, мы отвечали: что, даже с точки зрения государственной, отнятие у нас Польши, Остзейских провинций никак не может быть для нас бедствием, а скорее может считаться благом, так как оно уменьшило бы потребность военной силы и государственных расходов; с точки же зрения христианской мы ни в каком случае не можем допустить войны, так как война требует убийства людей, а христианство не только запрещает всякое убийство, но требует благотворения всем людям, считая всех братьями без различия народностей. Христианское государство, говорили мы, вступающее в войну, для того, чтобы быть последовательным, должно не только снять кресты с церквей, самые церкви обратить в помещения для

других целей, духовенству дать другие должности и, главное, запретить евангелие, – но должно отречься от всех тех требований нравственности, которые вытекают из христианского закона. *C'est à prendre ou à laisser*, [19] говорили мы. До тех же пор, пока не будет уничтожено христианство, привлекать людей к войне можно будет только хитростью и обманом, как это и делается теперь. Мы же видим эту хитрость и обман и потому не можем поддаться им. Так как при этом не было музыки, шампанского, ничего одурманивающего нас, то наш гость только пожимал плечами и с свойственной французам любезностью говорил, что он очень благодарен за тот радушный прием, который он получил в нашем доме, но очень сожалеет о том, что мысли его не получили того же.

IX

После этой беседы мы пошли на покос, и там он, надеясь найти в народе больше сочувствия своим мыслям, попросил меня перевести старому уже, болезненному, с огромной грыжей и все-таки затаяному в труде мужику, нашему товарищу по работе, крестьянину Прокофию, свой план воздействия на немцев, состоящий в том, чтобы с двух сторон сжать находящегося в середине между русскими и французами немца. Француз в лицах представил это Прокофию, своими белыми пальцами прикасаясь с обеих сторон к потной посконной рубахе Прокофия. Помню добродушно насмешливое удивление Прокофия, когда я объяснил ему слова и жест француза. Предложение о сжатии немца с двух сторон Прокофий, очевидно, принял за шутку, не допуская мысли о том, чтобы взрослый и ученый человек мог с спокойным духом и в трезвом состоянии говорить о том, чтобы желательно было воевать.

– Что же, как мы его с обеих сторон зажмем, – сказал он, отвечая шуткой, как он думал, на шутку, – ему и податься некуда будет, надо ему тоже простор дать.

Я перевел этот ответ своему гостю.

– *Dites lui que nous aimons les Russes*, [20] – сказал он. Слова эти поразили Прокофия, очевидно, еще более, чем предложение о сжатии немца, и вызвали некоторое чувство подозрения.

– Чей же он будет? – спросил меня Прокофий, с недоверием указывая головой на моего гостя. Я сказал, что он француз, богатый человек.

– Что же он по какому делу? – спросил Прокофий. Когда я ему объяснил, что он приехал для того, чтобы вызвать русских на союз с Францией в случае войны с немцами, Прокофий, очевидно, остался вполне недоволен и, обратившись к бабам, сидевшим у копны, строгим голосом, неволью выражавшим чувства, вызванные в нем этим разговором, крикнул на них, чтобы они заходили сгребать в копны недогретенное сено.

– Ну, вы, вороны, задремали. Заходи. Пора тут немца жать. Вон еще покос не убрали, а похоже, что с середины жать пойдут, – сказал он. И потом, как будто боясь оскорбить таким замечанием приезжего чужого человека, он прибавил, оскаливая в добрую улыбку свои до половины съеденные зубы: – Приходи лучше с нами работать, да и немца присылай. А отработаемся – гулять будем. И немца возьмем. Такие же люди. – И, сказав это, Прокофий вынул свою жилистую руку из развилины вил, на которые он опирался, вскинул их на плечи и пошел к бабам.

– Oh, le brave homme! [21] – воскликнул, смеясь, учтивый француз. И на этом закончил тогда свою дипломатическую миссию к русскому народу.

Вид этих двух столь противоположных друг другу людей – сияющего свежестью, бодростью, элегантностью, хорошо упитанного француза в цилиндре и длинном, тогда самом модном пальто, своими нерабочими, белыми руками энергически показывающего в лицах, как надо сжать немца, – и вид шершавого, с трухой в волосах, высохшего от работы, загорелого, всегда усталого и, несмотря на свою огромную грыжу, всегда работающего Прокофия с своими распухшими от работы пальцами, в его спущенных домашних портках, разбитых лаптях, шагающего с огромной навилиной сена на плече той не ленивой, но экономной на движения походкой, которой движется всегда рабочий человек, – вид этих двух столь противоположных друг другу людей очень многое уяснил мне тогда и живо вспомнился мне теперь, после тулоно-парижских празднеств. Один из них олицетворял собой всех тех вскормленных и обеспеченных трудами народа людей, которые употребляют потом этот народ как пушечное мясо; Прокофий же – то самое пушечное мясо, которое вскармливают и обеспечивают тех людей, которые им распоряжаются.

Х

«Но у французов отняты две провинции, отторгнуты дети от любимой матери. Но Россия не может потерпеть того, чтобы Германия предписывала ей законы и лишала ее ее исторического призвания на востоке, – не может допустить возможности отнятия у нее, как у французов, ее провинций: Остзейского края, Польши, Кавказа. Но Германия не может допустить возможности потери тех преимуществ, которые она приобрела такими жертвами. Но Англия не может никому уступить своего морского преобладания». И, сказав такие слова, обыкновенно, предполагается, что француз, и русский, и немец, и англичанин должны быть готовы жертвовать всем для возвращения отнятых провинций, утверждения своего влияния на востоке, соблюдения своего единства и могущества, владычества над морями и т. п.

Предполагается, что чувство патриотизма есть, во-первых, – чувство,

всегда свойственное всем людям, а, во-вторых, – такое высокое нравственное чувство, что, при отсутствии его, должно быть возбуждаемо в тех, которые не имеют его. Но ведь ни то, ни другое несправедливо. Я прожил полвека среди русского народа и в большой массе настоящего русского народа в продолжение всего этого времени ни разу не видал и не слышал проявления или выражения этого чувства патриотизма, если не считать тех заученных на солдатской службе или повторяемых из книг патриотических фраз самыми легкомысленными и испорченными людьми народа. Я никогда не слышал от народа выражений чувств патриотизма, но, напротив, беспрестанно от самых серьезных, почтенных людей народа слышал выражения совершенного равнодушия и даже презрения ко всякого рода проявлениям патриотизма. То же самое я наблюдал и в рабочем народе других государств, и то же подтверждали мне не раз образованные французы, немцы и англичане о своем рабочем народе.

Рабочий народ слишком занят поглощающим всё его внимание делом поддержания жизни, себя и своей семьи, чтобы он мог интересоваться теми политическими вопросами, которые представляются главным мотивом патриотизма: вопросы влияния России на Восток, об единстве Германии, или возвращении Франции отнятых провинций, или уступки той или другой части одного государства другому и т. п. не интересует его не только потому, что он никогда почти не знает тех условий, при которых возникают эти вопросы, но и потому, что интересы его жизни совершенно независимы от государственных, политических интересов. Человеку из народа всегда совершенно всё равно, где проведут какую границу и кому будет принадлежать Константинополь, будет или не будет Саксония или Брауншвейг членом Германского союза, и будет ли Англии принадлежать Австралия или земля Мателло, и даже какому правительству ему придется платить подать и в чье войско отдавать своих сынов; но ему всегда очень важно знать, сколько ему придется платить податей, долго ли служить в военной службе, долго ли платить за землю и много ли получать за работу – всё вопросы совершенно независимые от общих государственных, политических интересов. Оттого-то и происходит то, что, несмотря на все усиленные средства, употребляемые правительствами для привития народам не свойственного им патриотизма и подавления в народах развивающихся в них идей социализма, – социализм всё более и более проникает в народные массы, а патриотизм, так старательно прививаемый правительствами, не только не усваивается народом, но всё более и более исчезает и держится только в высших классах, которым он выгоден. Если же и бывает, что патриотизм захватывает иногда народную толпу, как это было теперь в Париже, то это бывает только тогда, когда толпа эта подвергается усиленному гипнотическому воздействию правительств и правящих классов, и держится патриотизм в народе только до тех пор, пока продолжается это воздействие.

Так, например, в России, где патриотизм в виде любви и преданности к вере, царю и отечеству с необыкновенной напряженностью всеми находящимися в руках правительства орудиями: церкви, школы, печати и всякой торжественности, прививается народу, русский рабочий человек – сто миллионов русского народа, несмотря на ту незаслуженную репутацию, которую ему сделали, народа особенно преданного своей вере, царю и отечеству, есть народ самый свободный от обмана

патриотизма и от преданности вере, царю и отечеству. Веры своей, той православной, государственной, которой он будто бы так предан, он большей частью не знает, а как только узнает, бросает ее и становится рационалистом, т. е. принимает такую веру, на которую нападать и которую защищать нельзя; к царю своему, несмотря на непрерывные, усиленные внушения в этом направлении, он относится, как ко всем насильственным властям, если не с осуждением, то с совершенным равнодушием; отечества же своего, если не разумеет под этим свою деревню, волость, он или совершенно не знает, или, если знает, то не делает между ним и другими государствами никакого различия. Так что, как прежде русские переселенцы шли в Австрию, в Турцию, так и теперь они селятся совершенно безразлично в России, вне России, в Турции или в Китае.

XI

Мой старый друг Д., живя зимой один в деревне, в то время как жена его, которую он изредка навещал там, жила в Париже, по длинным осенним вечерам часто беседовал с безграмотным, но очень умным и почтенным мужиком – старостой, приходившим по вечерам с докладом, и приятель мой рассказывал ему между прочим и о преимуществах французского государственного порядка перед нашим. Это было накануне последнего польского восстания и вмешательства французского правительства в наши дела. Патриотические русские газеты тогда возгорелись негодованием к такому вмешательству, так разожгли правящие классы, что положение было очень напряженное, и у нас заговорили о войне с Францией.

Приятель мой, начитавшись газет, рассказал старосте и про эти отношения между Россией и Францией. Подчиняясь настроению газет, приятель мой говорил, что если будет война (он был старый военный), он пойдет на службу и будет воевать с Францией. Тогда revanche французам казалась нужной патриотическим русским за Севастополь.

– Зачем же нам воевать? – спросил староста.

– Да как же позволить Франции распоряжаться у нас.

– Да ведь вы сами говорите, что у них лучше нашего устроено, – сказал староста совершенно серьезно. – Пускай бы они так у нас устроили.

И приятель мой рассказывал мне, что рассуждение это так поразило его, что он решительно не знал, что ответить, и только засмеялся, как смеются люди, проснувшись от обманчивого сна.

Такие же суждения можно услышать от всякого трезвого русского рабочего человека, если только он не находится под гипнотическим влиянием правительства. Говорят о любви русского народа к своей

вере, царю и отечеству, а между тем не найдется в России ни одного общества крестьян, которое бы на минуту задумалось о том, что ему выбрать из двух предстоящих мест поселения: одно в России с русским батюшкой–царем, как это пишется в книжках, и святой верой православной в своем обожаемом отечестве, но с меньшей и худшей землей, или без батюшки белого царя и без православной веры где–либо вне России, в Пруссии, Китае, Турции, Австрии, но с несколько большими и лучшими угодьями, что мы и видели прежде и видим и теперь. Для всякого русского крестьянина вопрос о том, под чьим они будут правительством (так как он знает, что, под чьим бы он ни был, одинаково будут обирать его), имеет несравненно меньше значения, чем вопрос – не скажу уже: хороша ли вода, но – мягка ли глина и хорошо ли родится капуста.

Но можно подумать, что равнодушие русских происходит от того, что всякое правительство, под власть которого они перейдут, будет наверно лучше русского, потому что в Европе нет ни одного хуже его; но это не так: сколько мне известно, то же самое мы видели на переселенцах англичанах, голландцах, немцах, переселяющихся в Америку, всяких других народностях, переселяющихся в Россию.

Переходы европейских народов из–под власти одного правительства под власть другого: из–под турецкого под австрийское или из–под французского под германское, так мало изменяют положение народа, что ни в каком случае не могут вызвать никакого недовольства в рабочем народе, если он только не будет искусственно подчинен внушениям правительств и правящих классов.

XII

Обыкновенно в доказательство существования патриотизма приводят проявления патриотических чувств в народе во время различных торжеств, как, например, в России во время коронации или встречи царя после крушения 17 октября, или во Франции во время объявления войны Пруссии, или в Германии во время торжеств победы, или во время франко–русских празднеств.

Но ведь надо знать, как готовятся эти манифестации. В России, например, при каждом проезде государя наряжаются от крестьянских обществ и с фабрик люди для встреч и приветствий царя.

Восторги толпы большей частью искусственно приготавливаются теми, кому они нужны, и степень восторга, выражаемая толпой, показывает только степень искусства учредителей этих восторгов. Дело это практикуется давно и потому специалисты учредители этих восторгов дошли в приготовлениях их до высокой виртуозности. Когда Александр II был еще наследником и командовал, как это обыкновенно делается, Преображенским полком, он раз после обеда приехал в полк, стоявший в лагере. Только что показалась его коляска, солдаты, как были в одних

рубахах, выбежали ему навстречу и с таким восторгом встретили, как это пишется, своего августейшего командира, что все взапуски бежали за коляской и многие из них на бегу крестились, глядя на наследника. Все те, кто видели эту встречу, были умилены этой наивной преданностью и любовью русского солдата к царю и его наследнику и тем непритворным религиозным и очевидно неподготовленным восторгом, который выражался в лицах, в движениях и в особенности в крестных знамениях солдат. А между тем всё это было сделано искусственно и приготовлено следующим образом: после смотра накануне наследник сказал бригадному командиру что он заедет завтра.

– Когда ожидать ваше императорское величество?

– Должно быть, вечером. Только, пожалуйста, чтобы не было приготовлений. – Как только наследник уехал, бригадный командир созвал ротных командиров и распорядился, чтобы на завтрашний день все солдаты были в чистых рубахах, и как только завидят коляску наследника, которую должны ждать махальные, – чтобы все бежали, как попало, навстречу и с криками «ура» бежали бы за коляской, при этом, чтобы каждый десятый человек в роте бежал и крестился. Фельдфебеля выстроили роты и, считая по одному, останавливались на десятком: «раз, два, три... восемь, девять, десять, Сидоренко крестится; раз, два, три, четыре... Иванов крестится...» И всё было исполнено по приказанию, и впечатление восторга произведено было полное и на наследника, и на всех присутствующих, и даже на солдат и офицеров, и даже на бригадного командира, который сам всё это выдумал. Точно так же, хотя менее грубо, делается это и везде, где есть патриотические манифестации. Так, франкорусские празднества, которые представляются нам как произвольные выражения чувства народа, произошли не сами собой, а были, напротив, очень искусственно и довольно видно подготовлены и вызваны французским правительством.

«Как только стал известен приезд русских моряков, так тотчас же, – я цитирую опять из того же «Сельского Вестника», правительственного органа, собирающего свои сведения из всех других газет, – не только во всех больших и малых городах, лежащих на довольно длинном пути между Тулоном и Парижем, но и во множестве городов и селений, лежащих совсем в стороне на далеком расстоянии, – начали составляться комитеты для устройства празднеств. Открылся повсюду сбор пожертвований на расходы по этим празднествам. Многие города посылали делегации в Париж к нашему императорскому послу с просьбами, чтобы русские моряки посетили эти города хоть на один день, даже хоть на один час. Городские управления всех тех городов, в которых указано побывать нашим морякам, назначили огромные суммы, более чем по 100 тысяч рублей на устройство различных празднеств и увеселений, и изъявили готовность израсходовать на это еще большие суммы, сколько потребуется, лишь бы встреча и празднества вышли как можно великолепнее.

«В самом Париже, кроме суммы на этот предмет, отпущенной от городского управления, еще собрана большая сумма по частной подписке частным комитетом тоже на устройство увеселений, и французское правительство ассигновало более 100 тысяч рублей на расходы для чествования русских гостей министрами и другими властями. Во многих

городах, где наши моряки вовсе не покажутся, все-таки решено устроить 1-го октября разные празднества в честь России. Множество городов и провинций решили послать в Тулон или Париж особые делегации приветствовать русских гостей и поднести им подарки на память о Франции или послать им приветственные адреса и телеграммы. Решено повсюду день 1-го октября считать народным праздником и воспитанников учебных заведений освободить от учения на этот день, а в Париже на два дня. Штрафным нижним чином решено простить их провинности, чтобы они с благодарностью вспоминали радостный день для Франции – день 1-го октября.

Для облегчения желающим из публики посетить Тулон и участвовать в встрече русской эскадры, железные дороги понизили плату наполовину и снаряжали особые поезда не в очередь».

И вот когда целым рядом повсеместных одновременных мер, которые, благодаря находящейся в его руках власти, всегда может принять правительство, некоторая часть народа, преимущественно пена народная, городская толпа, приведена в ненормально-возбужденное состояние, говорят: смотрите, это произвольное выражение воли всего народа. Такие манифестации, как те, которые происходили теперь в Тулоне и Париже, которые происходят в Германии при встрече императора или Бисмарка, или при маневрах в Лотарингии и постоянно повторяющиеся в России при всяких торжественно обставленных встречах, доказывают только то, что средства искусственного возбуждения народа, находящиеся теперь в руках правительств и правящих классов, так могущественны, что правительства и правящие классы, обладающие ими, всегда могут по произволу вызвать какую они хотят патриотическую манифестацию проявлением патриотических чувств народа. Ничто, напротив, не доказывает с такой очевидностью отсутствие патриотизма в народах, как именно те напряженные усилия, которые употребляются теперь правительствами и правящими классами для искусственного возбуждения его, и те малые результаты, которые получаются, несмотря на все эти усилия.

Если патриотические чувства так свойственны народам, то оставили бы их свободно проявляться, а не возбуждали бы их всеми возможными и постоянными и исключительными искусственными средствами. Пусть бы хоть на время, на год, перестали бы в России, как это делают теперь, при вступлении всякого царя во власть, заставлять весь народ присягать ему, перестали бы при всякой церковной службе по нескольку раз торжественно произносить обычные молитвы за царя, перестали бы праздновать с колокольным звоном, иллюминацией и запретами работать дни его рождения и именин, перестали бы вывешивать и выставлять везде его изображения, перестали бы в молитвенниках, календарях, учебниках печатать огромными буквами имя его и семьи и даже местоимения, относящиеся к ним; перестали бы в особых книжках и газетах, только для этого назначенных, возвеличивать его; перестали бы судить и сажать в тюрьмы за малейшее неуважительное слово, сказанное о царе, – перестали бы хоть на время это делать, и тогда мы увидели бы, насколько свойственно народу, настоящему рабочему народу, Прокофию, старосте Ивану и всем людям русского народа, как в этом уверяют народ и уверены все иностранцы, обожать царя, который тем или другим способом отдает их в руки помещика и вообще богатых.

Так это в России, но пусть точно так же перестанут в Германии, Франции, Италии, Англии, Америке делать всё то, что точно так же напряженно делается и там правящими классами для возбуждения патриотизма и преданности и покорности существующему правительству, и тогда мы увидали бы, насколько свойствен этот воображаемый патриотизм народам нашего времени.

А то с детства всеми возможными средствами – школьными учебниками, церковными службами, проповедями, речами, книгами, газетами, стихами, памятниками – всё в одном и том же направлении одурят народ, потом соберут насильно или подкупом несколько тысяч народа и, когда эти собравшиеся тысячи, к которым пристанут еще все зеваки, которые всегда рады присутствовать при всяком зрелище, и когда вся эта толпа при звуках стрельбы из пушек, музыки и при виде всякого блеска и света начнет кричать то, что прокричат перед ней, нам говорят, что это выражение чувств всего народа. Но, во 1-х, эти тысячи, ну, много, десятки тысяч людей, которые кричат что-то при таких торжествах, составляют только одну крошечную, десятитысячную часть всего народа; во 2-х, из этих десятков тысяч кричащих и махающих шапками людей, большая половина, если не согнана насильно, как у нас в России, то искусственно вызвана какой-нибудь приманкой; в 3-х, из всех этих тысяч едва ли есть десятки, которые знают, в чем дело, и точно так же кричали бы и махали тапками, если бы происходило совершенно противное тому, что происходит; в 4-х, тут же присутствует полиция, которая сейчас же заставит замолчать и заберет всех тех, которые закричат не то, чего хочет и требует правительство, как это усиленно делалось во время франко-русских празднеств.

Во Франции одинаково восторженно приветствовали войну с Россией при Наполеоне I, и потом Александра I, того, против кого велась война, и потом опять Наполеона, и опять союзников, и Бурбона, и Орлеана, и республику, и Наполеона III, и Буланже; а в России одинаково восторженно приветствуют нынче Петра, завтра Екатерину, послезавтра Павла, Александра, Константина, Николая, герцога Лейхтенбергского, братьев славян, прусского короля и французских моряков и всех тех, кого начальство захочет приветствовать. Точно то же самое происходит в Англии, Америке, Германии, Италии.

То, что называется патриотизмом в наше время, есть только, с одной стороны, известное настроение, постоянно производимое и поддерживаемое в народах школой, религией, подкупной прессой в нужном для правительства направлении, с другой – временное, производимое исключительными средствами правящими классами, возбуждение низших по нравственному и умственному даже уровню людей народа, которое выдается потом за постоянное выражение воли всего народа. Патриотизм угнетенных народностей не составляет из этого исключения. Он точно так же несвойствен рабочим массам, а искусственно прививается им высшими классами.

XIII

«Но если люди народа не испытывают чувства патриотизма, то это происходит оттого, что они не доросли еще до этого высокого и свойственного всякому образованному человеку чувства. Если они не испытывают этого высокого чувства, то надо его воспитывать в них. Это самое и делает правительство».

Так говорят обыкновенно люди правящих классов с такой полной уверенностью в том, что патриотизм есть высокое чувство, что наивные люди из народа, не испытывающие этого чувства, признают себя виноватыми в том, что они не испытывают этого чувства, стараются уверить себя, что они испытывают его или хотя притворяются в этом.

Но что же такое это высокое чувство, которое, по мнению правящих классов, должно быть воспитываемо в народах?

Чувство это есть, в самом точном определении своем, не что иное, как предпочтение своего государства или народа всякому другому государству и народу, чувство, вполне выражаемое немецкой патриотической песней: «Deutschland, Deutschland über alles», [22] в которую стоит только вместо Deutschland вставить Russland, Frankreich, Italien или N. N., т. е. какое-либо другое государство, и будет самая ясная формула высокого чувства патриотизма. Очень может быть, что чувство это очень желательно и полезно для правительств и для цельности государства, но нельзя не видеть, что чувство это вовсе не высокое, а, напротив, очень глупое и очень безнравственное; глупое потому, что если каждое государство будет считать себя лучше всех других, то очевидно, что все они будут неправы, и безнравственно потому, что оно неизбежно влечет всякого человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести выгоды для своего государства и народа в ущерб другим государствам и народам, — влечение прямо противоположное основному, признаваемому всеми нравственному закону: не делать другому и другим, чего бы мы не хотели, чтобы нам делали.

Патриотизм мог быть добродетелью в древнем мире, когда он требовал от человека служения наивысшему — доступному человеку того времени — идеалу отечества. Но как же может быть патриотизм добродетелью в наше время, когда он требует от людей прямо противоположного тому, что составляет идеал нашей религии и нравственности, не признания равенства и братства всех людей, а признания одного государства и народности преобладающими над всеми остальными. Но мало того, что чувство это в наше время уже не только не есть добродетель, но несомненный порок; чувства этого, т. е. патриотизма в истинном его смысле, в наше время и не может быть, потому что нет для него ни материальных, ни нравственных оснований.

Патриотизм мог иметь смысл в древнем мире, когда каждый народ более или менее однородный по своему составу, исповедующий одну и ту же государственную религию и подчиняясь одной неограниченной власти своего верховного, обоготворяемого владыки, представлялся сам себе как бы островом среди постоянно стремящегося залить его океана

варваров.

Понятно, что при таком положении патриотизм, т. е. желание отстоять от нападения варваров, не только готовых разрушить общественный порядок, но угрожающих разграблениями и поголовными убийствами, и пленением, и обращением в рабство мужчин, и изнасилованием женщин, было чувством естественным, и понятно, что человек, для избавления себя и своих соотечественников от таких бед, мог предпочитать свой народ всем другим и испытывать враждебное чувство к окружающим его варварам и убивать их, чтобы защитить свой народ.

Но какое же значение может иметь это чувство в наше христианское время? На каком основании и для чего может человек нашего времени, русский пойти и убивать французов, немцев, или француз немцев, когда он знает очень хорошо, как бы он ни был мало образован, что люди другого государства и народа, к которому возбуждается его патриотическая враждебность, не варвары, а точно такие же люди – христиане, как и он, часто даже одной с ним веры и исповедания, точно так же, как и он, желающие только мира и мирного обмена труда и, кроме того, еще большей частью связанные с ним или интересами общего труда, или торговыми, или духовными интересами, или теми и другими вместе. Так что очень часто для людей одного государства – люди другого государства ближе и нужнее, чем свои соотечественники, как это имеет место для рабочих, связанных с работодателями чужих народностей, для торговых людей и в особенности для ученых и художников.

Кроме того, сами условия жизни до того изменились теперь, что то, что мы называем отечеством, то, что мы должны как-то отличать от всего остального, перестало быть ясно определенным, как оно было у древних, где составлявшие одно отечество люди принадлежали к одной народности, одному государству и одной вере. Понятен патриотизм египтянина, еврея, грека, римлянина, которые, защищая свое отечество, защищали вместе и свою веру, и свою народность, и свою родину, и свое государство.

Но в чем выразится в наше время патриотизм ирландца в Соединенных Штатах, по вере своей принадлежащего Риму, по народности Ирландии, по государственности Соединенным Штатам? В таком же положении находится чех в Австрии, поляк в России, Пруссии и Австрии, индеец в Англии, татарин и армянин в России и Турции. Но, не говоря уже о людях этих отдельных покоренных народностей, люди государств самых однородных, как Россия, Франция, Пруссия, не могут уже испытывать того чувства патриотизма, который был свойствен древним, потому что очень часто все главные интересы их жизни, иногда семейные – он женат на женщине другого народа; экономические – капиталы его за границей; духовные, научные или художественные – все не в своем отечестве, а вне его, в том государстве, к которому возбуждается его патриотическая ненависть.

Главное же невозможно патриотизм в наше время потому, что, как мы ни старались в продолжение 1800 лет скрыть смысл христианства, оно все-таки проточилось в нашу жизнь и до такой степени руководит ею, что люди, самые грубые и глупые, не могут уже не видеть теперь

совершенной несовместимости патриотизма с теми нравственными правилами, которыми они живут.

XIV

Патриотизм был нужен для образования объединенных из разных народностей и защищенных от варваров сильных государств. Но как скоро христианское просвещение одинаково внутренне преобразило все эти государства, дав им одни и те же основы, патриотизм стал уже не только не нужен, но стал единственным препятствием для того единения между народами, к которому они готовы по своему христианскому сознанию.

Патриотизм в наше время есть жестокое предание уже пережитого периода времени, которое держится только по инерции и потому, что правительства и правящие классы, чувствуя, что с этим патриотизмом связана не только их власть, но и существование, старательно и хитростью и насилием возбуждают и поддерживают его в народах. Патриотизм в наше время подобен лесам, когда-то бывшим необходимыми для постройки стен здания, которые, несмотря на то, что они одни мешают теперь пользованию зданием, все-таки не снимаются, потому что существование их выгодно для некоторых.

Между христианскими народами уже давно нет и не может быть никаких причин раздора. Невозможно даже представить себе, как и зачем мирно и вместе работающие на границах и в столицах русские и немецкие рабочие станут ссориться между собой. И тем менее можно вообразить себе вражду между каким-нибудь казанским крестьянином, поставляющим хлеб немцу, и немцем, доставляющим ему косы и машины, то же самое между французскими, немецкими и итальянскими рабочими. О ссоре же между учеными, художниками, писателями разных национальностей, живущими одними общими, независимыми от национальности и государственности интересами, даже смешно говорить.

Но правительствам нельзя оставить народы в покое, т. е. в мирных отношениях между собой, потому что если не единственное, то главное оправдание существования правительств в том, чтобы умиротворять народы, улаживать их враждебные отношения. И вот правительства вызывают эти враждебные отношения под видом патриотизма и потом делают вид, что умиротворяют народы между собой. Вроде того, как цыган, который, насыпав своей лошади перца под хвост, нахлестав ее в стойле, выводит ее, повиснув на поводу, и притворяется, что он насилию может удержать разгорячившуюся лошадь.

Нас уверяют, что правительства заботятся о соблюдении мира между народами. Как же они соблюдают этот мир?

Живут люди по берегам Рейна, мирно общаясь между собой, – вдруг, вследствие разных ссор и интриг между королями и императорами,

начинается война, и оказывается нужным правительству Франции признать некоторых из этих жителей французами. Проходят века, люди привыкли к этому положению, опять начинается вражда между правительствами больших народов, и по самому пустому предлогу начинается война, и оказывается нужным немцам признать этих жителей опять немцами, и во всех французах и немцах разжигается недоброжелательство друг к другу. Или живут мирно немцы с русскими на своей границе, мирно обмениваются трудами и произведениями труда, и вдруг те самые учреждения, которые существуют только во имя умиротворения народов, начинают ссориться, делать глупость за глупостью и ничего лучшего не умеют придумать, как самый ребяческий прием самонаказания, только бы поставить на своем и насолить противнику (что в этом случае особенно удобно, так как те, кто устраивает таможенную войну, не страдают от нее, а страдают другие), устраивают ту таможенную войну, которая недавно велась между Россией и Германией. И между немцами и русскими с помощью газет начинает разгораться недоброжелательное чувство, которое еще разжигается франко-русскими празднествами и того и гляди может привести и к кровавой войне.

Я привел эти последние два примера воздействия правительств на народ для возбуждения в нем враждебности к другим народам, потому что они современны; но нет во всей истории ни одной войны, которая не была бы вызвана правительствами, одними правительствами, совершенно независимо от выгод народов, которым война, даже если она успешна, всегда вредна.

Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительствам. Так это с полной очевидностью видно во время революций и диктатур и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют себе их. Когда же народы подчинятся правительствам, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы. И, таким образом, для народов подтверждаются уверения правительств об опасности от нападения со стороны других народов.

Divide et impera.[23]

Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.

Патриотизм есть рабство.

Проповедники мира посредством арбитражи рассуждают так: два животных не могут разделить добычу иначе, как подравшись, так же поступают дети, варвары и варварские народы. Но люди разумные решают свои несогласия рассуждением, убеждением, передачей решения вопроса

незаинтересованным, разумным лицам. Так должны поступать и народы нашего времени. Рассуждения эти кажутся вполне правильными. Народы нашего времени дожили до периода разумности, не имеют враждебности друг к другу и могли бы решать свои несогласия путем мирным. Но рассуждение это справедливо только относительно народов, одних народов, если бы они не были под властью правительств. Народы же, подчиняющиеся правительствам, не могут быть разумны, потому что подчинение правительствам уже есть признак величайшего неразумия.

Какая же речь может быть о разумности людей, вперед обещающихся исполнить всё то (включая сюда и убийство людей), что предпишет правительство, т. е. известные случайно попавшие в это положение люди.

Люди, могущие принять такое обязательство безропотного подчинения всему тому, что им предпишут неизвестные им люди из Петербурга, Вены, Берлина, Парижа, не могут быть разумны, и правительства, т. е. люди, обладающие такой властью, еще менее могут быть разумны и не могут не злоупотреблять ею, не могут не ошалевать от такой безумно страшной власти. Поэтому – то и не может быть достигнут мир народов между собой разумным путем, конвенциями, арбитрацией до тех пор, пока будет существовать подчинение народов правительствам, которое всегда неразумно и всегда пагубно.

Подчинение же людей правительствам всегда будет, пока будет патриотизм, потому что всякая власть основывается на патриотизме, т. е. на готовности людей, ради защиты своего народа, отечества, т. е. государства, от мнимо угрожающих ему опасностей, подчиняться власти.

На этом патриотизме основывалась власть французских королей над своим народом до революции; на этом же патриотизме основывалась и власть Комитета общественной безопасности после революции; на этом же патриотизме воздвиглась власть Наполеона (и консула и императора); и на том же патриотизме установилась по свержении Наполеона власть Бурбонов, и потом республики, и Людовика–Филиппа, и опять республики, и опять Бонапарта, и опять республики, и на этом же патриотизме чуть было не установилась власть г–на Буланже.

Страшно сказать, но нет и не было такого совокупного насилия одних людей над другими, которое не производилось бы во имя патриотизма. Во имя патриотизма воевали русские с французами, французы с русскими, и во имя же патриотизма теперь готовятся русские с французами воевать против немцев, и во имя патриотизма готовятся теперь немцы – воевать на два фронта. Но не только войны, – во имя патриотизма русские душат поляков и немцы славян; во имя патриотизма коммунары убивали версальцев и версальцы – коммунаров.

Казалось бы, что распространение образования, облегченных способов передвижения, частого общения между людьми разных народов, при распространении печати и, главное, при совершенном уничтожении опасности от других народов, обман патриотизма должен бы становиться всё труднее и труднее и под конец сделаться невозможным.

Но дело в том, что те самые средства всеобщего внешнего образования, облегченных способов передвижения и общения и, главное, печати, захваченные и всё более и более захватываемые правительствами, дают им теперь такую возможность возбуждать в народах враждебные друг к другу чувства, что на сколько увеличивалась очевидность ненужности и вреда патриотизма, на столько же увеличивалась и сила воздействия правительств и правящих классов на народ для возбуждения патриотизма.

Различие между тем, что было и что есть теперь, состоит только в том, что так как теперь гораздо большее число людей участвует в тех выгодах, которые доставляет патриотизм высшим классам, то и гораздо большее число людей участвует в распространении и поддержании этого удивительного суеверия.

Чем труднее удержать свою власть, тем с всё большим и большим количеством людей правительство делится ею.

Прежде властвовала одна маленькая кучка правителей: императоры, короли, герцоги, их чиновники и воины; теперь же участниками этой власти и доставляемых ею выгод стали не только чиновники и духовенство, но капиталисты, большие и даже малые, и землевладельцы, и банкиры, и члены палат, и учителя, и сельские должностные лица, и ученые, и даже художники, и в особенности писатели, журналисты. И все эти лица сознательно и бессознательно распространяют обман патриотизма, необходимый им для удержания своего выгодного положения. И обман, благодаря тому, что средства обмана стали сильнее и что в нем участвует теперь всё большее количество людей, производится так успешно, что, несмотря на большую трудность обмана, степень обманутости народа остается та же.

За 100 лет тому назад безграмотный народ, не имевший никакого понятия о том, из кого состоит его правительство, и о том, какие народы окружают его, слепо повиновался тем местным чиновникам и дворянам, у которых он находился в рабстве. И достаточно было правительству держать подкупами и наградами в своей власти этих чиновников и дворян, чтобы народ покорно исполнял то, что от него требовалось. Теперь же, когда народ уже большею частью умеет читать, знает более или менее, из кого состоит его правительство, какие народы окружают его; когда люди из народа постоянно и легко передвигаются с места на место, принося ему сведения о том, что делается на свете, уже недостаточно простого требования исполнения приказаний правительств; нужно еще затемнить те правдивые понятия, которые имеет народ о жизни, и внушить ему несвойственные представления об условиях его жизни и об отношении к нему других народов.

И вот, благодаря распространению печати, грамотности и легкости

сообщений, правительства, везде имея своих агентов, через указы, церковные проповеди, школы, газеты внушают народу самые дикие и превратные понятия об его выгодах, об отношениях народов между собой, об их свойствах и намерениях, и народ, настолько задавленный трудом, что не имеет ни времени, ни возможности понять значение и проверить справедливость тех понятий, которые внушаются ему, и тех требований, которые во имя его блага предъявляются ему, безропотно покоряется им.

Люди же из народа, освобождающиеся от неустанного труда и образовывающиеся и потому, казалось бы, могущие понять обман, производимый над ними, подвергаются такому усиленному воздействию угроз, подкупа и гипнотизации правительств, что почти без исключения тотчас переходят на сторону правительств и, поступая в выгодные и хорошо оплачиваемые должности учителей, священников, офицеров, чиновников, становятся участниками распространения того обмана, который губит их собратьев. Как будто в дверях образования стоят тенета, в которые, неизбежно попадают все те, которые теми или другими способами выходят из массы поглощенного трудом народа.

Сначала, когда поймешь всю жестокость этого обмана, невольно поднимается негодование против тех, которые из-за своих личных, корыстолюбивых, тщеславных выгод, производят этот жестокий, губящий не только тело, но и душу людей, обман, хочется обличить этих жестоких обманщиков. Но дело в том, что обманывающие обманывают не потому, что они хотят обманывать, но потому, что они почти не могут поступать иначе. И обманывают они не макиавелически, не с сознанием производимого ими обмана, но большей частью с наивной уверенностью, что они делают что-то доброе и возвышенное, в чем их постоянно поддерживает сочувствие и одобрение всех окружающих их. Правда, что, смутно чувствуя то, что на этом обмане держится их власть и выгодное положение, они невольно влекутся к нему, но действуют они не потому, что они хотят обмануть народ, а потому, что думают, что делаемое ими дело полезно для народа,

Так, императоры, короли со своими министрами, делая свои коронации, маневры, смотры, посещения друг друга, во время которых они, наряжаясь в различные мундиры, переезжая с места на место, с серьезными лицами совещаются друг с другом о том, как примирить будто бы враждебные народы (которым никогда и в голову не придет воевать друг с другом), вполне уверены, что всё то, что они делают, дело очень разумное и полезное.

Точно так же все министры, дипломаты и всякие чиновники, наряжающиеся в свои мундиры с разными ленточками и крестиками и озабоченно пишущие на прекрасной бумаге за номерами свои неясные, запутанные, никому не нужные сообщения, донесения, предписания, проекты, вполне уверены, что без этой их деятельности остановится или расстроится вся жизнь народов.

Точно так же и военные, наряженные в свои смешные костюмы, серьезно рассуждающие о том, какими ружьями или пушками лучше убивать людей, вполне уверены, что их маневры и смотры суть самые важные и нужные для народа дела.

В этом же убеждены и проповедующие патриотизм священники, журналисты и составители патриотических стихов и учебников, получающие за это щедрое вознаграждение. В том же не сомневаются и учредители празднеств вроде франко-русских, искренно умиляющиеся при произнесении своих патриотических речей и тостов. Все люди эти делают то, что они делают, бессознательно, потому что это необходимо им, так как на этом обмане построена вся их жизнь, и потому что они другого ничего не умеют делать, а между тем эти самые поступки вызывают сочувствие и одобрение всех тех людей, среди которых они совершаются. Мало того что, будучи все связаны друг с другом, они сами одобряют и оправдывают поступки и деятельность друг друга: императоры и короли – военных, чиновников и духовных; а военные, чиновники и духовные – императоров и королей и друг друга, толпа народная, преимущественно городская толпа, не видя никакого понятного для себя смысла во всем том, что делается всеми этими людьми, невольно приписывает им особенное, почти сверхъестественное значение. Толпа видит, например, что ставятся триумфальные арки, люди наряжаются в короны, мундиры, ризы, сжигаются фейерверки, палят из пушек, звонят в колокола, ходят с музыкой полки, летают бумаги, и телеграммы, и курьеры с места на место, и странно наряженные люди непрерывно, озабоченно переезжают с места на место, что-то говорят и пишут и т. п., и толпа, не будучи в состоянии проверить, что всё это делается (как оно есть в действительности) без малейшей надобности, приписывает всему этому особенное, таинственное для себя и важное значение, и криками восторга или молчаливым уважением встречает все эти проявления. А между тем эти выражения иногда восторга и всегда уважения толпы еще более усиливают уверенность тех людей, которые производят все эти глупости.

Недавно Вильгельм II заказал себе новый трон с какими-то особенными украшениями и, нарядившись в белый мундир с латами, в обтянутые штаны и в каску с птицей и сверх этого надев красную мантию, вышел к своим подданным и сел на этот новый трон с полной уверенностью, что это дело очень нужное и важное, и подданные его не только не нашли в этом ничего смешного, но нашли это зрелище весьма торжественным.

XVI

Уже давно власть правительств над народами держится не на силе, как она держалась в те времена, когда одна народность покоряла другую и силой оружия держала ее в покорности, или когда у властителей среди безоружного народа были отдельные вооруженные полчища янычар, опричников, гвардейцев. Власть правительств держится теперь уже давно только на том, что называется общественным мнением.

Существует общественное мнение, что патриотизм есть великое нравственное чувство и что хорошо и должно считать свой народ, свое государство самым лучшим в мире, и устанавливается естественно

вытекающее из этого общественное мнение о том, что хорошо и должно признавать над собой власть правительств и подчиняться ей, что хорошо и должно служить в военной службе и подчиняться дисциплине, хорошо и должно в виде подати отдавать свои сбережения правительству, хорошо и должно подчиняться решениям судов, хорошо и должно бесконтрольно верить тому, что выдается правительственными лицами за божественную истину.

А раз существует такое общественное мнение, то и устанавливается могущественная власть, обладающая в наше время миллиардами денег, организованным механизмом управления, почтами, телеграфами, телефонами, дисциплинированными войсками, судами, полицией, покорным духовенством, школой, даже прессой, и власть эта поддерживает в народах то общественное мнение, которое нужно ей.

Власть правительств держится на общественном мнении, обладая же властью, правительства посредством всех своих органов, чиновников, суда, школы, церкви, прессы даже, всегда могут поддержать то общественное мнение, которое им нужно. Общественное мнение производит власть, власть производит общественное мнение. И выхода из этого положения кажется что нет никакого.

И так бы оно действительно было, если бы общественное мнение было нечто постоянное, неизменяющееся и правительства могли бы производить то общественное мнение, которое им нужно.

Но, к счастью, этого нет, и общественное мнение есть, во-первых, не нечто постоянное, неизменяющееся, стоячее, а, напротив, нечто постоянно изменяющееся, движущееся вместе с движением человечества; а во-вторых, общественное мнение не только не может быть производимо по желанию правительствами, а есть то, что производит правительства и дает им власть или отнимает ее у них.

Если и может казаться, что общественное мнение остается неподвижным и теперь таково же, каким оно было десятки лет тому назад, и может казаться и то, что общественное мнение по отношению некоторых частных случаев колеблется, как будто возвращаясь назад, так что оно, например, то уничтожает республику, заменяя ее монархией, то вновь уничтожает монархию, заменяя ее республикой, но это только кажется так, когда мы рассматриваем внешние проявления того общественного мнения, которое искусственно производится правительствами. Но стоит только взять общественное мнение в его отношении ко всей жизни людей, и мы увидим, что общественное мнение точно так же, как время дня или года, никогда не стоит на месте, а всегда движется, всегда идет неотступно вперед по тому же пути, по которому идет вперед человечество, точно так же, как, несмотря на задержки и колебания, неотступно идет вперед день или весна по тому же пути, по которому идет солнце.

Так что хотя по самым внешним признакам положение народов Европы в наше время почти такое же, какое было 50 лет тому назад, отношение к нему народов уже совсем иное, чем то, которое было 50 лет тому назад. Если существуют те же, как и 50 лет тому назад, властители, войска, войны, подати, роскошь и нищета, католичество, православие,

лютеранство, то прежде это существовало потому, что общественное мнение народов требовало этого, теперь же всё это существует только потому, что правительства искусственно поддерживают то, что было когда-то живым общественным мнением.

Если же мы часто не замечаем этого движения общественного мнения, как не замечаем движения воды в реке, по течению которой плывем, то происходит это оттого, что те незаметные изменения общественного мнения, которые составляют его движение, происходят в нас самих.

Свойство общественного мнения есть постоянное и неудержимое движение. Если нам кажется, что оно стоит на месте, то это происходит оттого, что везде есть люди, устроившие себе выгодное положение на известном моменте общественного мнения и потому всеми силами старающиеся удержать его и не дать проявиться тому новому, настоящему, которое хотя еще и не выразилось вполне, но уже живет в сознании людей. И такие люди, удерживающие отжившее общественное мнение и скрывающие новое, суть теперь все те, которые составляют правительства и правящие классы, исповедующие патриотизм, как необходимое условие жизни человеческой.

Средства, которыми обладают эти люди, огромны, но так как общественное мнение есть нечто вечно текущее и прибывающее, то все усилия их не могут не быть тщетны: старое старится, молодое растет.

Чем дольше будет удержано выражение нового общественного мнения, тем более оно нарастет и тем с большею силою выразится. Правительства и правящие классы всеми силами стараются удержать то старое общественное мнение патриотизма, на котором построена их власть, и остановить проявление нового, которое уничтожает ее. Но удержать старое и остановить новое можно только до известных пределов, точно так же, как только до известного предела можно плотиной задержать текущую воду.

Сколько бы ни старались правительства возбуждать в народах не свойственное им уже общественное мнение прошедшего о достоинстве и доблестях патриотизма, люди нашего времени уже не верят в патриотизм, а всё больше и больше верят в солидарность и братство народов. Патриотизм уже не представляет людям никакого, кроме самого ужасного, будущего; братство же народов составляет тот общий идеал, который всё более и более становится понятным и желательным человечеству. И потому переход людей от прежнего, отжитого общественного мнения к новому неизбежно должен совершиться. Переход этот так же неизбежен, как отпадение весной последних сухих листьев и развертывание молодых из надувшихся почек.

И чем дальше оттягивается этот переход, тем он становится настоятельнее и тем очевиднее его необходимость.

Ведь в самом деле, стоит только вспомнить то, что мы исповедуем и как христиане и просто как люди своего времени, вспомнить те нравственные основы, которыми мы руководствуемся в нашей общественной, семейной и личной жизни, и то положение, в котором мы во имя патриотизма поставили себя, чтобы увидеть, до какой мы дошли

степени противоречия между нашим сознанием и тем, что считается среди нас, благодаря усиленному воздействию в этом направлении правительства, нашим общественным мнением.

Стоит только вдуматься в те самые обыкновенные требования патриотизма, которые, как что-то самое простое и естественное, предъявляются нам, чтобы понять, до какой степени эти требования противоречат тому действительному общественному мнению, которое мы все уже разделяем. Все мы считаем себя свободными, образованными, гуманными людьми и даже христианами, и между тем все мы находимся в таком положении, что завтра Вильгельм обиделся на Александра, или г-н N. N. написал бойкую статью о восточном вопросе, или принц какой-нибудь ограбил каких-нибудь болгар или сербов, или какая-нибудь королева или императрица обиделась на что-нибудь, и мы все, образованные, гуманные христиане, должны идти убивать людей, которых мы не знаем и к которым дружески расположены, как и ко всем людям. Если же этого не случилось еще, то мы обязаны этим, как уверяют нас, миролюбию Александра III, или тому, что Николай Александрович женится на внучке Виктории. А будет на месте Александра другой, или сам Александр изменит свое настроение, или Николай Александрович женится на Амалии, а не на Алисе, и мы, как кровожадные звери, бросимся выпускать кишки друг другу. Таково мнимое общественное мнение нашего времени. Суждения такие спокойно повторяются во всех самых передовых и либеральных органах печати.

Если мы, тысячелетние христиане, еще не перерезали горло друг другу, то это потому, что Александр III не позволяет нам сделать этого.

Ведь это ужасно!

XVII

Для того, чтобы совершились самые великие и важные изменения в жизни человечества, не нужны никакие подвиги: ни вооружение миллионов войск, ни постройки новых дорог и машин, ни устройства выставок, ни устройства союзов рабочих, ни революции, ни баррикады, ни взрывы, ни изобретения, ни воздухоплавание и т. п., а нужно только изменение общественного мнения. Для изменения же общественного мнения не нужно никаких усилий мысли, не нужно опровергать что-либо существующее и придумывать что-либо необыкновенное, новое, нужно только не поддаваться ложному, уже умершему, искусственно возбуждаемому правительствами общественному мнению прошедшего, нужно только, чтобы каждый отдельный человек говорил то, что он действительно думает и чувствует, или хоть не говорил того, чего он не думает. И только бы люди, хоть небольшое количество людей, делали это, и тотчас само собой спадет отжившее общественное мнение и проявится молодое, живое, настоящее. А изменится общественное мнение, и без всякого усилия само собой заменится всё то внутреннее устройство жизни людей, которое томит и мучает их. Совестно сказать, как мало нужно

для того, чтобы всем людям освободиться от всех тех бедствий, которые теперь удручают их: нужно только не лгать. Пускай только не поддаются люди той лжи, которую внушают им, пусть только не говорят того, что они не думают и не чувствуют, и тотчас же совершится такой переворот во всем строе нашей жизни, которого не достигнут революционеры столетиями, если бы вся власть находилась в их руках.

Только бы верили люди, что сила не в силе, а в правде, и смело высказывали бы ее, или хоть только бы не отступали от нее словом и делом: не говорили бы того, чего они не думают, не делали бы того, что они считают нехорошим и глупым.

Что же тут важного, чтобы прокричать: «Vive la France» или «ура!» какому-нибудь императору, королю, победителю, пойти, надев мундир, придворный ключ, дожидаться его в передней, раскланываться и называть его странными титулами и потом внушать всем и молодым и необразованным людям, что делать это очень похвально. Или что важного в том, чтобы написать статью в защиту франко-русского союза или таможенной войны, или в осуждение немцев, русских, французов, англичан. Или что важного пойти на какое-нибудь патриотическое празднование и пить за здоровье и говорить хвалебные речи людям, которых не любишь и до которых тебе нет никакого дела. Или даже что важного в том, чтобы в разговоре признать благотворность и полезность трактатов, союзов или даже промолчать, когда при вас восхваляют свой народ и государство, бранят и чернят другие народности, или когда восхваляют католичество, православие, лютеранство или какого-нибудь героя войны, или правителя вроде Наполеона, Петра или современного Буланже, Скобелева? Всё это кажется так неважно. А между тем в этих-то кажущихся нам неважными поступках, в воздержании нашем от участия в них, в указании по мере сил наших неразумности того, неразумность чего очевидна нам, в этом наше великое, непреодолимое могущество, то, из которого складывается та непобедимая сила, которая составляет настоящее, действительное общественное мнение, то мнение, которое, само двигаясь, движет всем человечеством. Правительства знают это и трепещут перед этой силой и всеми зависящими от них средствами стараются противодействовать ей или завладеть ею.

Они знают, что сила не в силе, а в мысли и ясном выражении ее, и потому боятся выражения независимой мысли больше, чем армий, устраивают цензуры, подкупают газеты, захватывают управления религиями, школами. Но та духовная сила, которая движет миром, ускользает от них, она даже не в книге, не в газете, она неуловима и всегда свободна, она в глубине сознания людей. Самая могущественная и неуловимая, свободная сила эта есть та, которая проявляется в душе человека, когда он один, сам собою обдумывает явления мира и потом невольно высказывает свои мысли своей жене, брату, другу, всем тем людям, с которыми он сходится и от которых считает грехом скрыть то, что он считает истиной. Никакие миллиарды рублей, миллионы войск и никакие учреждения, ни войны, ни революции не произведут того, что может произвести простое выражение свободным человеком того, что он считает справедливым независимо от того, что существует и что ему внушается.

Один свободный человек скажет правдиво то, что он думает и чувствует среди тысяч людей, своими поступками и словами, утверждающими совершенно противоположное. Казалось бы, что высказавший искренно свою мысль должен остаться одиноким, а между тем большей частью бывает так, что все или большинство уже давно думают и чувствуют то же самое, только не высказывают этого. И то, что было вчера новым мнением одного человека, делается нынче общим мнением большинства. А как скоро установилось это мнение, так тотчас незаметно, понемногу, но неуклонно начинают изменяться поступки людей.

А то каждый свободный человек говорит себе: «Что я могу сделать против всего этого моря зла и обмана, заливающего нас? К чему высказывать свое мнение? К чему даже составлять его? Лучше не думать об этих неясных и запутанных вопросах. Может быть, эти противоречия составляют неизбежное условие всех явлений жизни. И к чему мне одному бороться со всем злом мира? Не лучше ли отдаться увлекающему меня потоку: если и можно что-нибудь сделать, то не одному, а только в обществе с другими людьми». И, оставляя то могущественное орудие мысли и выражения ее, которое движет миром, каждый берет за орудие общественной деятельности, не замечая того, что всякая общественная деятельность основана на тех самых началах, с которыми ему предлежит бороться, что, вступая в общественную деятельность, существующую среди нашего мира, всякий человек должен хоть отчасти отступить от истины, сделать такие уступки, которыми он уничтожает всю силу того могущественного орудия борьбы, которое дано ему. Вроде того, как если бы человек, которому дан в руки необыкновенной остроты клинок, всё перерезающий, стал бы лезвием этого клинка забивать гвозди.

Все мы плачемся на безумный, противоречащий всему нашему существу порядок жизни, а не только не пользуемся тем единственным находящимся в нашей власти могущественнейшим орудием: сознания истины и выражения ее, но, напротив, под предлогом борьбы со злом уничтожаем это орудие и приносим его в жертву воображаемой борьбе с этим порядком.

Один не говорит той правды, которую он знает, потому, что он чувствует себя обязанным перед людьми, с которыми он связан, другой – потому, что правда могла бы лишит его того выгодного положения, посредством которого он поддерживает семью, третий – потому, что он хочет достигнуть славы и власти и потом уже употребить их на служение людям; четвертый – потому, что он не хочет нарушать старинные священные предания, пятый – потому, что он не хочет оскорблять людей, шестой – потому, что высказывание правды вызовет преследование и нарушит ту добрую общественную деятельность, которой отдается или намерен отдаться...

Один служит императором, королем, министром, чиновником, военным и уверяет себя и других, что то уклонение от истины, которое необходимо при его положении, далеко выкупается приносимой им пользой.

Другой исполняет обязанности духовного пастыря, в глубине души не веря всему тому, чему он поучает, но позволяет себе уклонение от истины ввиду приносимой им пользы. Третий поучает людей в литературе

и, несмотря на необходимое умалчивание всей истины для того, чтобы не воспротивиться правительству и обществу, не сомневается в приносимой им пользе; четвертый прямо борется с существующим порядком, как революционеры, анархисты, и вполне уверен, что цель, преследуемая им, так благотворна, что необходимое для успеха его деятельности умалчивание истины и даже ложь, не уничтожат благотворности его деятельности.

Для того, чтобы изменился противный сознанию людей порядок жизни и заменился соответственным ему, нужно, чтобы отжившее общественное мнение заменилось живым, новым. Для того же, чтобы старое, отжившее общественное мнение уступило место новому, живому, нужно, чтобы люди, сознающие новые требования жизни, явно высказывали их. А между тем все люди, сознающие все эти новые требования, один во имя одного, другой во имя другого, не только умалчивают их, но словом и делом утверждают то, что прямо противоположно этим требованиям. Только истина и высказывание ее может установить то новое общественное мнение, которое изменит отсталый и вредный порядок жизни, а между тем мы не только не высказываем той истины, которую знаем, а часто даже прямо высказываем то, что сами считаем неправдой..

Только бы не полагались свободные люди на то, что не имеет силы и всегда несвободно, – на внешнее могущество, а верили бы в то, что всегда могущественно и свободно, – в истину и выражение ее. Только бы смело, ясно высказывали люди уже открывшуюся им истину о братстве всех народов и преступности исключительной приверженности к своим народам, и сама собой соскочило бы, как отсохшая шкура, то мертвое, ложное общественное мнение, на котором держится вся власть правительств и всё зло, производимое ими, и проявилось бы то новое, живое общественное мнение, которое ждет только отпадения мешающего ему старого, для того чтобы явно и властно заявить свои, требования и установить соответственные сознанию людей, новые формы жизни.

XVIII

Стоит людям только понять, что то, что им выдают за общественное мнение, что поддерживается такими сложными, напряженными и искусственными средствами, не есть общественное мнение, а только мертвое последствие когда-то бывшего общественного мнения; стоит, главное, поверить им в себя, в то, что то, что сознается ими в глубине души, что просится у каждого наружу и не высказывается только потому, что противоречит существующему общественному мнению, – есть та сила, которая изменяет мир и проявление которой составляет призвание человека; стоит людям поверить в то, что правда не есть то, что говорят вокруг них люди, а то, что говорит человеку его совесть, т. е. бог, и мгновенно исчезнет ложное, искусственно поддерживаемое общественное мнение и установится истинное.

Только бы люди говорили то, что они думают, и не говорили того, чего они не думают, и тотчас же отпали бы все суеверия, вытекающие из патриотизма, и все злые чувства и насилия, основанные на нем. Отпала бы раздуваемая правительствами ненависть и вражда государств к государствам и народностей к народностям, отпали бы восхваления военных подвигов, т. е. убийства, отпали бы, главное, уважение к властям, отдачи им своих трудов и подчинение им, для которых помимо патриотизма нет никаких оснований.

А только бы сделалось это, и мгновенно вся та огромная масса слабых, всегда извне руководимых людей, мгновенно перевалит на сторону нового общественного мнения. И новое общественное мнение станет царствующим на место старого.

Пускай обладают правительства школой, церковью, печатью, миллиардами рублей и миллионами дисциплинированных, обращенных в машины людей, – вся эта кажущаяся страшной организация грубой силы ничто перед сознанием истины, возникающим в душе знающего силу истины одного человека, и от этого человека сообщится другому, третьему, как одна свеча зажигает бесконечное количество других. Стоит только загореться этому свету, и, как воск от лица огня, распадется, растает вся эта кажущаяся столь могущественной организация.

Только бы люди понимали ту страшную власть, которая дана им в слове, выражающем истину. Только бы не продавали люди свое старшинство за чечевичную похлебку. Только бы пользовались люди этой своей властью, и не только не посмели бы властители, как теперь, угрожать людям всеобщей бойней, в которую они по своему произволу ввергнут или не ввергнут людей, не смели бы на глазах мирных жителей делать своих смотров и маневров дисциплинированным убийцам, не смели бы правительства для своих расчетов, для выгод своих пособников устраивать и расстраивать таможенные договоры, не смели бы собирать с народа и те миллионы рублей, которые они раздадут своим пособникам и на которые приготавливаются к убийству.

Итак, изменение не только возможно, но невозможно, чтобы оно не сделалось, так же невозможно, как невозможно, чтобы не сотлело и не развалилось отжившее, мертвое дерево и не выросло молодое.

«Мир оставляю вам, мир мой даю вам: да не смущается сердце ваше и да не устрашается», – сказал Христос. И мир этот действительно уже есть среди нас, и от нас зависит приобрести его.

Только бы не смущалось сердце отдельных людей теми соблазнами, которыми ежечасно соблазняют их, и не устрашалось бы теми воображаемыми страхами, которыми пугают их. Только бы знали люди, в чем их могущественная, всепобеждающая сила, и мир, которого всегда желали люди, не тот, который приобретается дипломатическими переговорами, переездами императоров и королей из одного города в другой, обедами, речами, крепостями, пушками, динамитами и меленитами, не изнурением народа податями, не отрыванием цвета населения от труда и развращением его, а тот мир, который приобретается свободным исповеданием истины каждым отдельным человеком, уже давно наступил бы среди нас.

Л. Толстой.

17 марта 1894. Москва.

Комментарии В. С. Мишина

«ХРИСТИАНСТВО И ПАТРИОТИЗМ»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ И ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

Поводом к писанию статьи «Христианство и патриотизм» послужила квазипатриотическая шумиха, поднятая русскими и французскими газетами в связи с заключением франко–русского союза и торжествами по случаю прибытия в начале октября 1893 г. русской эскадры под командованием, вице–адмирала Авелана в Тулон.

Толстой приступил к работе над статьей 8 октября 1893 г. Первую редакцию статьи, подписанную этим числом (см. рук. № 1), Толстой, начал непосредственно с изложения опубликованной в газетах телеграммы из Парижа от 5 октября с описанием торжеств по случаю заключения союза, но тут же перешел к изложению содержания прочитанной им «недавно» статьи «ученого психиатра» (И. А. Сикорского) о психопатической эпидемии малеванщины, напечатанной в «Киевских университетских известиях». Сравнивая эту эпидемию с эпидемией, «появившейся в Париже», Толстой находит вторую несравненно опаснее первой, потому что последствиями ее будут «неисчислимы бедствия». Если распространителями эпидемии малеванщины являются совсем ничтожные и безвредные люди, то распространители парижской эпидемии – могущественные люди, «обладающие и властью и громадными средствами». Эти люди, пишет Толстой, «не их Паскали, Руссо, Дидероты, Вольтеры...а самые пошлые и жалкие представители правительственного патриотизма» (рук. № 1).

Начав обработку статьи, Толстой постепенно расширил первую часть, посвященную описанию празднеств в Тулоне и Париже, вводя в нее в качестве иллюстраций ряд цитат из газет и «Сельского вестника», и отодвинул изложение статьи Сикорского. [24]

Вся статья была начата в резко обличительных тонах, описание торжеств давалось в саркастическом тоне.

Толстой знал, что напечатать эту статью по тогдашним цензурным условиям в России было невозможно, и первоначально предполагал послать ее в немецкие газеты. Об этом Толстой сообщил бывшей у него в начале октября 1893 г. Л. И. Веселитской, которая в свою очередь по приезде в Петербург передала об этом Н. С. Лескову. Лесков живо откликнулся на это сообщение и в письме от 16 октября писал Толстому: «Океан глупости», [25] говорят, вывел Вас из терпения, и Вы хотите противопоставить этому отрезвление в немецком издании. Правда ли это? «Океан глупости» противен чрезвычайно, но благоразумно ли ставить свою ладонь против обезумевшего быка?. В каком фасоне это будет написано и в какое немецкое издание будет направлено? И почему именно в немецкое, а не в английское? Немецкое приводит целую ассоциацию идей, которые совсем неудобны у нас теперь». [26]

20 октября Толстой ответил Н. С. Лескову: «Вы правы, что если посылать, то в английские газеты. Я так и сделаю, если пошлю, и в английские и в немецкие. Говорю: если пошлю, потому что всё не кончил еще. Я не умею написать сразу, а всё поправляю. Теперь и опоздал. И сам не знаю, что сделаю... если следует послать, то это напишется хорошо. До сих пор этого нет, поэтому еще медлю» (т. 66, стр. 405–406), а 22 октября писал дочери Т. Л. Толстой: «Мама подала очень хорошую мысль послать Тулон, [27] если посылать, к Сутнер» [28] (т. 66, стр. 408).

Между тем Толстой продолжал работать над статьей, расширяя и дополняя ее новыми материалами.

29 октября И. И. Горбунов–Посадов послал Толстому вырезку из газеты «Русские ведомости» (1893, № 291 от 22 октября) со статьей «Русская эскадра в Тулоне (От нашего корреспондента)», прося обратить внимание на приведенную в статье речь тулонского епископа при спуске броненосца «Жоригибери». 31 октября Толстой, сообщая дочери Татьяне Львовне о получении от Горбунова этой вырезки, писал, что она ему «пригодилась» (т. 66, стр. 416). Речь тулонского епископа была почти целиком помещена в гл. II статьи.

Повидимому, к началу ноября 1893 г. статья в черновом виде была закончена. 30 октября Толстой писал Д. А. Хилкову: «Написал статью Протест против франко–русских празднеств... Эту статью пошлю в английские газеты» (т. 66, стр. 415); и в тот же день сообщил В. Г. Черткову: «Я кончил, кажется, о религии [29] и теперь хочу кончить о франко–русских празднествах и пошлю в «Daily Chronicle» и к Suttner в ее журнал «Die Waffen nieder» (т. 87, стр. 232).

Этой редакцией Толстой остался недоволен. 3 ноября он записал в Дневнике: «Написал Тулон и не посылаю» [30] (т. 52, стр. 103); и в тот же день сообщил В. Г. Черткову: «С Тулоном сделалось то, что он мне опротивел» (т. 87, стр. 234). Однако 5 ноября он писал Черткову же: «Я вам написал, что статья о Тулоне оттолкнула меня, и я принял это за внутренний голос. Это было очень глупо с моей стороны. Я опять ею занят, хотя хорошего в ней очень мало» (т. 87, стр. 236).

Работа над статьей продолжалась интенсивно весь ноябрь, и 1 декабря

Толстой подписал статью, что обычно означало окончание какой-то редакции статьи. 3 декабря он сообщил Г. А. Русанову: «Теперь пишу о Тулоне, гипнотизации патриотизма, кажется кончил» (т. 66, стр. 436); однако М. Л. Толстая в тот же день уведомила В. Г. Черткова: «Тулон всё это время усиленно работает. Сегодня отец подписался под ним и говорит, что кончил, но я не верю, так как он давно уже говорит это, и сейчас буду очищать ему для его работы завтра» (т. 87, стр. 237).

Так это в действительности и было. И декабрь 1893 г. и январь и почти весь февраль 1894 г. Толстой продолжает исправлять статью и уже ни разу не упоминает об окончании ее (см. письма к Н. С. Лескову от 10 декабря 1893 г., Н. Н. Ге (отцу) от 24 декабря 1893 г., Ж. Легра от 5 января 1894 г., Ш. Саломону от 30 января 1894 г., В. Г. Черткову от 8 февраля 1894 г. и С. А. Толстой от 3 февраля 1894 г. – т. 66, стр. 445 и 452, т. 67, стр. 17 и 24, т. 87, стр. 255, и т. 84, стр. 209); а в Дневнике он отмечает 22 декабря 1893 г.: «Тяжелая, некончающаяся работа над Тулоном, которую я не могу бросить»; 24 января 1894 г.: «Писал всё только Тулон. Немного подвинулся. Но вообще плохо»; 9 февраля 1894 г.: «Работа Тулона идет всё так же плохо. Много есть концов средних, но нет настоящего сильного. Может быть, оттого, что начало легкомысленно» (т. 52, стр. 105, 108 и 111). [31]

22 февраля 1894 г. Толстой окончил новую редакцию статьи (см. рук. № 38) и 26 февраля сообщил Л. Л. и Т. Л. Толстым: «Тулон кончил» (т. 67, стр. 56), но уже 2 марта им же писал: «Бросил Тулон, который мне очень не нравится неопределенностью тона – то газетного игривого, то рассудительного-скучного, и не знаю, пошлю ли» (т. 67, стр. 59). Между тем, очевидно вскоре, Толстой возобновил работу, исправляя статью как по рукописи, датированной 22 февраля 1894 г. (№ 38), так и по предшествующей ей (№ 37). Последние исправления он внес в рук. № 37. В эту рукопись были перенесены переписчиками также исправления, сделанные Толстым в рук. № 38, и, кроме того, исправления, сделанные в несохранившейся рукописи, которая, вероятно, была послана одному из переводчиков. В рук. № 37 эти исправления вписаны рукой М. А. Шмидт (см. описание рукописей). После внесения всех исправлений Толстой подписал эту рукопись 17 марта 1894 г. и пометил: «Совсем, совсем, совсем кончено».

В Дневнике под 23 марта 1894 г., после полуторамесячного перерыва, Толстой записал: «За всё это время писал Тулон и дней пять тому назад кончил и решил не переводить и не печатать. И это облегчило меня» (т. 52, стр. 112).

Однако 21 апреля 1894 г. он записал в Дневнике: «Тулон решил послать переводчикам. Все одобряют» (т. 52, стр. 115).

Статья «Христианство и патриотизм» была послана для перевода на французский язык Жюлю Легра, [32] на английский – К. И. Тёрнеру и на немецкий – С. Ю. Бер.

На французском языке статья в переводе Ж. Легра впервые появилась в «Journal des Débats» в мае 1894 г. и затем отдельным изданием в том же переводе под заглавием «L'esprit chrétien et le patriotisme»,

édit. Perrin, Paris, 1894.

К. И. Тёрнер по просьбе Толстого [33] вернул статью, не доведя перевод до конца, так как статью эту взялся переводить В. Г. Чертков, договорившийся с Баттерсби о публикации ее в Англии. [34] На английском языке статья впервые была опубликована в «Daily Chronicle» в июне 1894 г.

Перевод С. Ю. Бер не был напечатан ввиду того, что ее издатель отказался печатать статью после опубликования ее на французском языке. По-немецки статья впервые опубликована в переводе В. Е. Генкеля в издании Г. Мюллера в Берлине в августе 1894 г.

По-русски статья «Христианство и патриотизм» впервые опубликована в изд. М. К. Элпидина в Женеве в 1895 г. (Carouge – Genève, M. Elpidine, Libraire-éditeur).

В России статья эта была запрещена цензурой и распространялась в подпольных гектографированных изданиях. Кроме того, печатные экземпляры ввозились контрабандно из-за границы. Особенно большое распространение статья получила в прибалтийских губерниях и Польше. 31 мая 1901 г. лифляндское жандармское управление в связи с этим запросило письмом за № 1753 Главное управление по делам печати, что делать с этими изданиями. 18 июня 1901 г. Главное управление известило, что ввоз означенных изданий запрещен, и предложило «неукоснительно следить о прекращении всякого доступа им из-за границы» («Архив Петербургского цензурного комитета», дело 78, ч. IV). [35]

Впервые в России статья в числе других запрещенных статей Толстого («Не убий», «Письмо к либералам», «Письмо к фельдфебелю» и пр.) была напечатана в 1906 г. отдельной брошюрой в изд. «Обновление». Издатель Н. Е. Фельтен был привлечен к судебной ответственности за издание этих брошюр.

В 1911 г. статья была включена С. А. Толстой в т. XVIII Собрания сочинений Л. Н. Толстого с большими цензурными искажениями и пропусками. И в той же редакции в 1913 г. была напечатана в т. XVI11 Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого под ред. П. И. Бирюкова, изд. т-ва И. Д. Сытина.

В настоящем издании статья «Христианство и патриотизм» печатается по изданию М. К. Элпидина (Женева, 1895). Опечатки и ошибки исправляются по рукописям.

Общее количество рукописного материала, относящегося к статье «Христианство и патриотизм», исчисляется в 1384 лл. разного формата (в том числе и обрезки).

Рукописи располагаются хронологически под №№ 1–39. В переписке рукописей принимали участие: М. Л. Толстая, П. А. Буланже, Е. И. Попов, И. И. Горбунов-Посадов, П. П. Кандидов, М. А. Шмидт и неизвестные переписчики.

Рук. № 1 – первый автограф статьи, подписанный Толстым и датированный им «1893. 8 октября, Я. П.».

Рук. №№ 2–27 – последовательные копии, в подавляющем большинстве своем неполные, с большим количеством обрезков.

Рук. № 28 – копия, датированная Толстым «20 ноября».

Рук. № 29 – копия, датированная Толстым «21 ноября. Москва».

Рук. №№ 30–32 – разрозненные копии. В конце рук. № 32 подпись Толстого и его дата: «1 декабря 1893».

Рук. № 33 – почти полная копия всей статьи. На первой странице заглавия, последовательно исправлявшиеся Толстым: «(Психопатическая эпидемия), (Наваждение), (Не лгать), (Гипнотизация и обеспечение мира), (Обеспечение мира), (Психо[па]тическая эпидемия), (Гипнотизация и патриотизм), Гипнотизация патриотизма. [36]

Рук. №№ 34–36 – последовательные копии.

В рук. № 35 заглавие: «Патриотизм и христианство».

Рук. № 37 – полная копия всей статьи. Исправлялась Толстым несколько раз, после чего была подписана и датирована «17 марта 1894». В эту рукопись переписчиками перенесены поправки, сделанные Толстым в следующей рукописи (из которой перенесено и заглавие статьи), а также из рукописи неизвестной. Эти последние поправки сделаны М. А. Шмидт красными чернилами. Толстой, внося эти исправления, несомненно стремился местами смягчить текст и зашифровать упоминавшиеся в статье имена. Важнейшие из них следующие:

Стр. 29, строка 20. [37]

После слов: да здравствует Франция! вычеркнуто: Французский министр утверждает, что Кронштадт и Тулон почему-то свидетельствуют о дружбе народов, и дает русскому народу аттестацию «благородного». Г-н Авелан не хочет расстаться, не произнеся тех слов, которые начертаны в сердцах русского народа. И восторг охватывает всех присутствующих.

Стр. 31, строки 2–5.

Вместо: капитан Лавров вписано: который-нибудь из русских капитанов

Вместо: г-н Авелан вписано: русский адмирал и дальше, после слов: за прекрасную Францию! вычеркнуто: как научился он этому выражению у опытного оратора г-на Моренгейма.

Далее повсюду заменяются: Авелан – начальником русской эскадры; г-н Карно – президентом республики; Делянов – министром просвещения.

Стр. 33, строка 13.

Вместо: епископ Миньо в Тулоне вписано: епископ в Тулоне

Стр. 33, строки 38–39.

Вместо: Генерал Богданович благодарил г-жу Адан вписано: Генерал такой-то благодарил г-жу такую-то

Стр. 39, строки 19 и 26.

Вместо: г-н Суворин вписано: сторонники войны

Вместо: посол Моренгейм вписано: русский посол

Стр. 41, строка 16.

Вместо: сказать этому наглецу вписано: ему сказать

Стр. 46, строка 32.

После слов: нелепое провозглашение вычеркнуто: «Божьей милостью, мы и т. д. (точно дело это так ужасно, что и нельзя человеческим языком написать про него). Явится нелепое провозглашение».

Стр. 46, строка 34.

После слова: финляндский вычеркнуто: и еще какой-то обдорский и кондийский

Стр. 49, строка 3.

Вместо: г-н Дерулед вписано: один известный... с Германией и далее везде вычеркнуто: Дерулед и заменено: наш гость

Рук. № 38 – копия рук. № 37 после первой правки ее Толстым. Вторичные исправления Толстого, сделанные в рук. № 37, в настоящую рукопись не попали. Заглавие надписано Толстым: «Христианство и патриотизм». В конце рукописи дата переписчика: «1894 г. 22 февраля».

Рук. № 39 – рукописный материал, относящийся ко всем стадиям работы Толстого над статьей.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ – СОРОК ВТОРОМУ ТОМАМ

Произведения, вошедшие в 39–42 томы Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, создавались им (лишь с некоторым перерывом) в течение одного из значительнейших периодов русской истории – в эпоху подготовки, развития и поражения первой русской революции 1905 года.

Толстовские работы, вошедшие в тридцать девятый том, написаны были в период с 1893 по 1898 г., когда в России, с одной стороны, начиналось перерастание капитализма в империалистическую стадию, а с другой – происходил процесс соединения марксизма с рабочим движением.

Произведения, публикуемые в сороковом – сорок втором томах, создавались Толстым в 1903–1910 гг., то есть во время самой революции 1905 года и последовавшей затем мрачной полосы столыпинской реакции.

Грандиозные историко–революционные явления нашли свое, хотя и своеобразное, отражение в произведениях Толстого.

Это с предельной четкостью подчеркнул Ленин в одной из своих статей о великом писателе: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по–своему, мировое значение русской революции... Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества». [38]

Правда, еще ранее порвав с эксплуататорскими классами и приняв воззрения русского патриархального крестьянства, Толстой резко обнажал язвы капиталистического строя, клеймил жестокость и тупость русского самодержавия, изобличал реакционность и ханжество официальной церкви, бичевал тунеядство и аморализм господствующих классов, разоблачал бесплодность и пустоту современной буржуазной культуры, науки, искусства. При этом он проявлял неизменное внимание и сочувствие к нуждам и желаниям, помыслам и устремлениям широчайших масс русского трудового народа.

В пору подъема освободительного движения и особенно тяжелого положения народных масс Толстой довел свою критику окружающей социальной действительности до небывалой остроты и силы. Жесточайшая эксплуатация и разорение трудящихся, безжалостное угнетение народа отзывалось острой болью в сердце писателя, вызывая гневный протест его. И Толстой бесстрашно, с необычайной мощью выступал против репрессий русского самодержавия, против свирепых расправ многочисленных карательных экспедиций, арестов, ссылок, каторги, против казней, массовых расстрелов – в защиту жертв этой зверской политики царизма. Более того, заражаясь стихийно–бунтарскими настроениями, проникшими даже в косную среду патриархального крестьянства, писатель подчас отзывался одобрительно и об аграрных волнениях и рабочих забастовках.

Но творчество Толстого и в особенности его публицистика не

отличались ни цельностью, ни последовательностью. Толстой не нашел верного решения вопросов, поставленных эпохой подготовки первой русской революции, как и не мог понять ее исторической необходимости. Наоборот, все его учение было преисполнено «кричащих противоречий», наряду со многими «сильными» сторонами включало немало «слабых» сторон.

Это явилось неизбежным следствием того, что в своей социальной философии Толстой оставался на идеалистических позициях.

Главным двигателем социально-исторического развития писатель, подобно философам-просветителям, считал сознание людей. «Уже давно власть правительств над народами держится не на силе», а «на том, что называется общественным мнением», – писал он.

Правда, Толстой порой стихийно приходил к диалектическим выводам. Так, например, он утверждал, что «удержать старое и остановить новое можно только до известных пределов, точно так же, как только до известного предела можно плотиной задержать текущую воду».

Больше того, Толстой оставался верен этому взгляду также по отношению к социальным явлениям. Он доказывал, что «переход людей от прежнего, отжитого общественного мнения к новому неизбежно должен совершиться. Переход этот так же неизбежен, как отпадение весной последних сухих листьев и разворачивание молодых из надувшихся почек». [39]

Но, несмотря на элементы диалектики, Толстой оставался метафизиком с абстрактно-внеисторическим подходом к явлениям общественной и политической жизни.

Вопреки даже просветителям, все же полагавшим, что взгляды людей определяются социальной средой, Толстой утверждал, что «та духовная сила, которая движет миром... – есть та, которая проявляется в душе человека, когда он один, сам собою обдумывает явления мира и потом невольно высказывает свои мысли своей жене, брату, другу». В результате «то, что было вчера новым мнением одного человека, делается нынче общим мнением большинства». [40]

В силу такого утопического представления о развитии общественного сознания Толстой, одновременно с суровой реалистической критикой буржуазных отношений и феодальных пережитков, проявил, однако, столь удивительное «непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса», которое могло быть «свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю». [41] Толстой, естественно, оказался «в полном противоречии с жизнью, работой и борьбой могильщика современного строя, пролетариата». [42]

Напряженной революционной борьбе рабочего класса Толстой пытался противопоставить реакционные искания «мирного» разрешения социальных противоречий, которые приводили его к абстрактным евангельским «истинам». Принципиально отвергая всякое насилие, в том числе и революционную борьбу, Толстой стремился доказать, что социальное неустройство жизни возможно преодолеть не внешней борьбой, которая

лишь еще более разжигает «зло», а только внутренним сопротивлением или хотя бы просто пассивным неучастием в социально–политической жизни, ибо победить рознь можно лишь «непротивлением злу насилием». И Толстой проповедовал: «чтобы всем людям освободиться от всех тех бедствий, которые теперь удручают их», надобно, чтобы они только «поверили» бы, «что сила не в силе, а в правде, и смело высказывали бы ее или хотя бы не отступали от нее словом и делом». Таким образом, с точки зрения Толстого, весь несправедливый общественный порядок изменится мгновенно и сам собой: «и тотчас же совершится такой переворот во всем строе нашей жизни, которого не достигнут революционеры столетиями, если бы вся власть находилась в их руках».

Однако эти противоречия Толстого не были случайны, не явились результатом блуждания его мысли. Напротив, они были порождены своеобразием той исторической эпохи, в которую он жил и творил. Ибо именно Толстой из всех писателей с наибольшей яркостью, «поразительно рельефно воплотил в своих произведениях» независимо от жанров «черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и слабость». [43]

Только в свете этой непревзойденной ленинской трактовки творчества Толстого можно глубоко понять и осмыслить подлинное содержание каждого из его произведений, в том числе и печатаемых в данных томах.

Сочинения Толстого, публикуемые в тридцать девятом – сорок втором томах, носят почти исключительно публицистический характер. И даже немногие вошедшие сюда художественные произведения тесным образом связаны с его публицистикой.

Однако все эти работы Толстого весьма разнообразны и по тематике и в жанровом отношении. Одни из них представляют собою статьи на общественно–политические и философско–религиозные темы; другие произведения имеют форму биографических очерков о различных мыслителях и общественных деятелях; иные написаны были Толстым в виде вступительных и заключительных статей к книгам, сборникам и статьям других авторов; обширный же ряд работ является своеобразными «компиляциями» Толстого – сборниками изречений мудрецов «разных стран и разных веков».

В соответствии с этим все произведения данных томов можно подразделить на ряд циклов.

II

К первому из этих циклов должны быть отнесены работы Толстого на социально–политические и философско–религиозные темы.

В ряде публицистических произведений этого времени [44] Толстой

останавливался преимущественно на таких животрепещущих темах предреволюционной и революционной эпохи, как деспотизм русского самодержавия, эксплуатация трудящихся «высшими» классами, рабочий вопрос, аграрная проблема, вопрос о значении революции и т. п. В публикуемых же в настоящих томах работах, таких, как «Христианство и патриотизм», «Религия и нравственность», «Богу или маммоне?», «Религия и наука», Толстой главным образом останавливается на других значительных проблемах – милитаризма, патриотизма, религии, науки. Каждая из этих статей являлась живым откликом на злободневные государственные и общественные события того времени.

Так, поводом к написанию статьи «Христианство и патриотизм» (1894) послужило посещение русской военной эскадры в октябре 1893 г. Тулона в ответ на посещение в 1892 г. французским военным флотом Кронштадта.

Это, на первый взгляд, малопримечательное событие возбудило в Толстом желание высказать свои суждения о буржуазном патриотизме, который Толстой отождествлял с шовинизмом, раскрыть его роль в милитаристской политике буржуазных правительств.

В своей работе Толстой с присущей ему пронизательностью обнажил связь шовинизма и милитаризма с интересами эксплуататорской верхушки. Подлинными вдохновителями военных нападений всегда, по его мнению, являются господствующие классы, стремящиеся к сверхприбылям, и многочисленные их прислужники, движимые карьеристскими и материальными устремлениями – гражданская бюрократия, военная администрация, представители желтой прессы и т. п.

Именно в предвкушении всего этого, лишь запахнет войной, «засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей», – пишет Толстой. И вслед за ними «засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно». Точно так же «засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высоко ценимые ими побрякушки–ленты, кресты, галуны, звезды». И одновременно в неменьшей мере «засуетятся, разжигая людей под видом патриотизма к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход».

Особенно резко осудил Толстой прислужничество и лицемерие клерикалов, которые готовы в зависимости от политических обстоятельств то проповедовать христианскую «любовь», то прославлять смертоносное оружие; в заключение он иронически упоминает об одном католическом епископе, который, освящая спуск на воду нового броненосца, «молился богу мира, давая чувствовать при этом, однако, что если что, то он может обратиться и к богу войны».

Толстой подчеркивал, что народные «низы» вовлекаются в войны правящей верхушкой путем обмана, одурманивания, принуждения, что им чужды агрессивные устремления господствующих «верхов». С возникновением войны, «заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой», бессознательно, но неуклонно «побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей – люди,

сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийств в руках туда, куда их погонят». И они «будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней» до тех пор, покуда, наконец, не «придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного».

Но, верно понимая социально-экономическую природу милитаризма, Толстой не делал никакого различия между милитаристской агрессией и справедливой войной, подходя к этому вопросу с абстрактной, «вечной» точки зрения. И, словно отрешившись от своего бывшего взгляда на освободительные войны, художественно-реалистически выраженного им некогда в «Севастопольских рассказах» и «Войне и мире», Толстой ныне в публицистических статьях безоговорочно приравнивал всякую войну к «разорению, грабежу и убийству».

Однако противоречивость и непоследовательность суждений Толстого о милитаризме заключались в том, что хищническим действиям агрессоров он противопоставил не эффективные методы борьбы, а лишь своеобразный и беспочвенный пацифизм. Агрессивной политике капиталистов, их далеко идущим колониальным планам, гонке вооружений, развитию военной науки и техники, буржуазной дипломатии он противопоставлял лишь «юродивую проповедь» самоустранения от участия в этих кровавых мероприятиях путем «отказа» от воинской повинности из религиозных побуждений. «Для того, чтобы люди, которым не нужна война, не воевали, не нужно ни международного права, ни третейского суда, ни международных судилищ... Средство для того, чтобы не было войны, состоит в том, чтобы не воевали те, которым не нужна война, которые считают грехом участие в ней», – к такому утопическому выводу приходил Толстой.

Правда, сам Толстой не мог не сознавать, что, хотя «средство это проповедовалось с древнейших времен христианскими писателями» и сам он «вот уже скоро двадцать лет... всячески разъяснял грех, вред и безумие военной службы», захватнические устремления буржуазии не только не исчезли, а, наоборот, все более усиливались, и Толстой, возмущенный всеми «ужасами войны», еще больше скорбит по поводу нарушения ею евангельских «основ» жизни. Ибо в случае новой войны «опять одичают, остервеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь» и тем самым «наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет».

Те же «сила» и «слабость» Толстого сказались и на его отношении к патриотизму – к этому, по словам Ленина, одному «из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств». [45]

Толстой отчетливо показал использование правящими классами патриотизма в своих корыстных, низменных, антинародных целях. Он подчеркивал, что русское самодержавие насаждало официальный «патриотизм в виде любви и преданности к вере, царю и отечеству» и из живого, воодушевляющего, народного чувства превратило его в орудие одурманивания, ослепления трудящихся масс. Толстой писал, что «правительства и правящие классы, чувствуя, что с этим патриотизмом

связана не только их власть, но и существование, старательно и хитростью и насилием возбуждают и поддерживают его в народах».

Не менее отрицательно отнесся Толстой также к напускному, «квасному» патриотизму, который ретиво пропагандировался славянофилами и их реакционными приспешниками. Сопоставляя лжепатриотические «проявления» перед русско-турецкой войной середины 50-х годов, с тулонскими торжествами 90-х годов, Толстой иронически замечает, что они точно так же тогда «раздувались Аксаковыми и Катковыми», за что последних «поминают уже теперь в Париже, как образцы патриотизма».

Толстой подверг также критике и безотчетные выражения лжепатриотизма. Он с неприязнью выделял из «большой массы настоящего русского народа» тех отдельных «самых легкомысленных и испорченных людей народа», из уст коих нередко раздавались фальшивые «патриотические фразы», хотя и механически лишь «заученные на солдатской службе или повторяемые из книг» шовинистского направления.

Толстой обнажал и самые цели, ради осуществления которых русское самодержавие и буржуазные правительства «искусственно возбуждали», всемерно разжигали и неизменно поддерживали лжепатриотизм, но которые тщательно скрывались и маскировались ими. Он вскрыл основные разновидности официального шовинизма.

Толстой остановился, во-первых, на той националистической пропаганде, которую буржуазные правительства вели друг против друга для поддержания своего собственного престижа. Она носила, правда, по преимуществу, лишь показной характер, так как преследовала не столько прямые агрессивные цели, сколько стремилась внушить «подданным» мысль о необходимости твердой власти для предотвращения якобы неизбежных международных конфликтов. Разоблачая эту форму «обмана патриотизма», Толстой прибегает к сатирически-образному сравнению, уподобляя монархов и президентов тому плуту-«цыгану, который, насыпав своей лошади перца под хвост, нахлестав ее в стойле, выводит ее, повиснув на поводу, и притворяется, что он насилию может удержать разгоряченную лошадь».

Во-вторых, Толстой разоблачает и ту разновидность лицемерного «патриотизма», посредством которого самодержавие пыталось парализовать или хотя бы сдержать все растущие революционные настроения трудящихся. Создаваемая этим путем удушливая атмосфера ненависти, презрения и недоверия к «инородцам», естественно, не только не могла не препятствовать солидарности трудящихся различных наций, но служила рассадником слепой розни среди них. И Толстой, вопреки даже своему неприятию всякого, в том числе и революционного, «насилия», не мог, однако, не поднять голоса против тех неблагоприятных мероприятий, которые «употребляются правительствами для привития народам... патриотизма и подавления в них... идей социализма».

Но самый резкий протест со стороны Толстого вызвала третья разновидность лжепатриотизма, преступно используемая правящими кликами именно в явно милитаристских целях, которая далеко не всегда

сразу проявлялась в форме военных союзов или грозных коалиций. Кровавая бойня нередко подготавливается задолго до ее начала путем торжественных с виду патриотических манифестаций, – вроде тех пышных тулонских празднеств, которые были организованы русским самодержавием и французской буржуазной республикой и преследовали в будущем агрессивные планы против Пруссии. Толстой с полным основанием подчеркивал поэтому, что разжигаемые буржуазными правительствами шовинистические инстинкты неизбежно должны приводить в конце концов к войнам – к тем «обычным злодействам, которые всегда вытекают из патриотизма» такого извращенного толка. Ибо ими маскировалась хищная фигура агрессора, стремившегося посредством военных насилий к захвату чужих территорий. И эти «патриотические» манифестации Толстой саркастически приравнивал к коварным умыслам уголовных элементов, образно уподобляя их на сей раз тем «оргиям и пьянствам, которым предаются злоумышленники, готовясь на совместное преступление».

Наконец, Толстой считал необходимым подвергнуть резкой критике и способы, при помощи которых насаждался лицемерный, официальный патриотизм. Это обуславливалось тем, что «средства искусственного возбуждения» его были «так могущественны, что правительства и правящие классы» в любое время «могли по произволу вызвать какую они хотят патриотическую манифестацию».

К этим средствам Толстой относит казенные учебные заведения, официальную церковь, продажную прессу, шовинистические произведения литературы и искусства – специально создаваемые и составляемые в лжепатриотическом духе «школьные учебники, службы, проповеди, речи, книги, газеты, стихи, памятники». К «исключительным средствам», представляющим собою хотя и «временные», но даже более эффективные мероприятия для «искусственного возбуждения» патриотического чувства, принадлежат царские «коронации», военные «маневры» и «смотры», международные «визиты» армии и флота, различные «манифестации», обращаемые в пышные «празднества» и «торжественные зрелища», сопровождаемые пушечными залпами, колокольным звоном, военными оркестрами, феерической иллюминацией и т. д.

Толстой, глубоко связанный с трудовым людом, не мог не видеть, что эти меры искусственного разжигания патриотизма отнюдь не воздействовали сколько-нибудь на широкие массы народа, а, наоборот, овладевали лишь совершенно незначительной, «составлявшей только одну крошечную, десятитысячную часть» его, притом наиболее отсталыми его слоями; и это демагогически «выдавалось потом за постоянное выражение воли всего народа». Поэтому Толстой совершенно прав был, когда утверждал, что такой «воображаемый патриотизм» действительно чужд трудящимся массам.

Во всех этих обличительных суждениях Толстого, таким образом, оказалась сокрушительная сила его критики, приобретающая подчас необычайное социально-политическое звучание.

Вместе с тем Толстой, страстно борясь против лживого патриотизма правящих классов, впадал в иную крайность.

На фактах враждебного отношения крестьян к политике царизма, их отчужденности от государственных интересов Толстой стремился доказать полное отсутствие в народных массах патриотических чувств вообще. «Я прожил полвека среди русского народа и... в продолжение всего этого времени ни разу не видал и не слышал проявления или выражения этого чувства патриотизма... – писал он. – Я никогда не слышал от народа выражений чувств патриотизма, но, напротив, беспрестанно от самых серьезных, почтенных людей народа слышал выражения совершенного равнодушия и даже презрения ко всякого рода проявлениям патриотизма». [46]

Он даже утверждал предвзято, что русский крестьянин всегда якобы предпочтет плохому земельному наделу на родине «несколько большие и лучшие угодья... где-либо вне России, в Пруссии, Китае, Турции, Австрии». Или что ему будто бы безразлично, «в чье войско отдавать своих сынов».

В качестве аргумента для подтверждения этой своей мысли Толстой передал разговор своего знакомого помещика с крестьянином-старостой о «вмешательстве французского правительства в наши дела» накануне второго польского восстания 1863 г. и о возможной поэтому войне с Францией:

«– Зачем же нам воевать? – спросил староста.

– Да как же позволить Франции распоряжаться у нас?

– Да ведь вы сами говорите, что у них лучше нашего устроено, – сказал староста». [47]

Здесь Толстой-публицист противоречит Толстому-художнику, который в своем романе «Война и мир» превознес тот подлинный «скрытый (latent) патриотизм, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и тому подобными противоестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты». Ибо «для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли, или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего», [48] – художественно-прониновенно писал тогда Толстой.

В таком порочном кругу оказался Толстой при обсуждении проблемы патриотизма вследствие того, что он руководствовался не конкретным социально-историческим критерием, а исходил из своего утопического морально-религиозного идеала.

Вот почему, разоблачая буржуазный патриотизм, которому сопутствует безудержная политическая и шовинистическая пропаганда, «предпочтение своего государства или народа всякому другому государству и народу», Толстой, верный своей религиозной догме, пришел к отрицанию патриотизма вообще.

Патриотическое чувство, писал он, «вовсе не высокое, а, напротив... очень безнравственное»; и «безнравственно потому, что оно неизбежно

влечет всякого человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести выгоды для своего государства и народа в ущерб другим государствам и народам, – влечение прямо противоположное основному, признаваемому всеми нравственному закону: не делать другому и другим, чего бы мы не хотели, чтобы нам делали». И одну из глав Толстой заключил следующими недоуменно–риторическими вопросами, которые не могли не ослаблять силу его сокрушительной критики: «...какое же значение может иметь это чувство в наше христианское время? На каком основании и для чего может... русский пойти и убивать французов, немцев или француз немцев», когда каждый из них, даже из наименее образованных, якобы «знает очень хорошо», что «люди другого государства и народа, к которому возбуждается его патриотическая враждебность», несомненно, «точно такие же люди–христиане, как и он?»»

Толстой проявил большой интерес к этическим проблемам. Вслед за статьей «Христианство и патриотизм» он пишет другую, озаглавленную им «Религия и нравственность».

Идеалистические предпосылки мировоззрения Толстого при трактовке и данного вопроса привели его все к тем же противоречиям.

Толстой резко и убедительно осуждает сложившиеся этические нормы, различая в них две одинаково не приемлемые для него разновидности. Одна из них – это, по словам Толстого, «нравственное учение первобытное, дикое», в основе которого лежало «стремление к благу отдельной личности», к «личному наслаждению», преследовало узко эгоистические цели. Возникновение же второй разновидности учения о морали приурочивалось Толстым к античности. Он именовал ее «общественной», так как она «пользование личным благом допускала только в той мере, в которой оно приобреталось... известной совокупностью личностей». Однако и эта своего рода альтруистическая мораль не была принята Толстым за «высшую нравственность», так как она тоже преследовала, подобно первой, лишь «земные», «мирские» цели. Историзм этой своеобразной периодизации Толстого носил чисто внешний характер, по существу же он исходил только из отвлеченных категорий нравственности, будто бы в той или иной мере повторяющихся в разные эпохи. Так, к указанной второй разновидности он причисляет не только мораль «древнего римского и греческого мира», но также нравственные учения «отчасти средней и новой истории» и относит к ней даже «нравственность большинства женщин, жертвующих личностью для блага семьи и, главное, детей». Словом, обе этические разновидности Толстой в равной мере пренебрежительно называет «языческими».

Причины упадочного состояния буржуазной этики Толстой, игнорируя законы общественного развития, видит лишь в ее связи с буржуазной философией и наукой, проникнутыми либо духом эгоистических устремлений, либо мнимым альтруизмом. Именно эти хищнические цели, по утверждению Толстого, преследовали как откровенно собственнические, так и лицемерно–либеральные научные школы, начиная с древнейших времен, в особенности же с эпохи Ренессанса, и кончая его современностью. «Языческая наука, – писал он, – восстановленная во времена Возрождения, процветающая и теперь в нашем обществе,

всегда была и продолжает быть исследованием всех тех условий, при которых человек получает наибольшее благо, и всех тех явлений мира, которые могут доставить его». [49] Особенно же ожесточенно выступил Толстой, против эволюционной теории с ее принципом «борьбы за существование». Ибо, согласно ей, наиболее приспособленный («способнейший», как переводит писатель дарвиновский термин «the fittest») не только не признает альтруистической «жертвы личности», но стремится к тому, «чтобы погибнуть не ему», а «другому, неспособнейшему». Не упоминая самого Дарвина, Толстой критикует его последователей – английского профессора–эволюциониста Гексли, русского профессора–дарвиниста Бекетова и т. п.

Но, совершенно резонно осуждая собственническую мораль и поддерживающие ее буржуазную философию и науку, Толстой выступает также и против подлинно научной точки зрения, рассматривающей нравственность как одну из существенных форм общественного сознания. Он упорно отрицает классовый характер морали. «Утверждать, что социальный прогресс производит нравственность, всё равно, что утверждать, что постройка печей производит тепло», – не без иронии писал Толстой.

Вся статья Толстого пронизана мыслью о тесной взаимосвязи религии и нравственности. «Без религиозной основы не может быть никакой настоящей, непритворной нравственности, точно так же, как без корня не может быть настоящего растения», – читаем в одном месте. «Нравственность не может быть независима от религии, потому что она не только есть последствие религии... но она включена уже, *impliquée*, в религии», – таков вывод, к которому приходит Толстой.

В противовес «языческой» морали Толстой выдвигает патриархально–утопический идеал «христианской» этики, которая, отрицая личное наслаждение и признавая лишь полное «самоотречение» от всех «мирских» целей, определила «извечные» и «всеобщие» нравственные нормы. «Христианская этика – определял Толстой, – ... требует не только жертвы личности для совокупности личностей, но требует отречения от своей личности и от совокупности личностей для служения богу».

В самой тесной связи с только что рассмотренной статьей стоят еще две работы Толстого, помещаемые в данных томах: статья «Богу или маммоне?» и незаконченная заметка «Религия и наука». В статье «Богу или маммоне?» изобличается Толстым алкоголизм, вызываемые им «грехи» и «соблазны» в виде «прелюбодеяния», «убийства», «воровства». И точно так же трактовка тем, затрагиваемых в обеих этих статьях, в полной мере обнаруживает все те же «силу» и «слабость» толстовской публицистики.

Известную группу в пределах данного цикла составляют также работы Толстого, непосредственно посвященные проблеме христианства: «Христианское учение» и «Как читать евангелие и в чем его сущность?».

По своей тематике они примыкают к таким более ранним толстовским сочинениям, как «Исповедь», «В чем моя вера?», «Соединение, перевод

и исследование четырех евангелий». И, подобно им, статьи эти также отличаются непримиримым антиклерикализмом. Толстой беспощадно разоблачает в них ханжеское использование церковью с помощью внешней обрядности и лжетолкования богослужебных текстов, христианского мировоззрения в своих реакционных и своекорыстных целях. «Если я писал книги о христианском учении, то только для того, чтобы доказать неверность тех объяснений, которые делаются толкователями евангелий», – указывал он во второй из названных работ.

И Толстой стремится совлечь с евангельского текста веками создававшийся вокруг него мистический ореол и установить «читательское» отношение к нему как именно к «книге». Более того, Толстой даже подчеркивает текстологическое его несовершенство; это, по его словам, «книга, прошедшая через многие соединения, переводы и переписки, составленная восемнадцать веков тому назад людьми малообразованными и суеверными».

Вследствие этого, приводит Толстой читателя к антицерковному выводу, «евангелие никак не есть непогрешимое выражение божеской истины, а произведение бесчисленных рук и умов человеческих, исполненное погрешностей, и потому ни в каком случае не может быть принимаемо, как произведение св: духа, как это говорят церковники». [50]

Но в то же время Толстой противопоставляет официальной церкви не атеизм в собственном смысле слова, а религиозное миропонимание, только очищенное от догматики и предвзятых искажений. Он признает его необходимейшим условием людского существования. «Человек без религии... так же невозможен, как человек без сердца», – подчеркивает он.

Толстой отвергал «метафизику религии»; для него последняя была тождественна исканиям «смысла жизни» и своеобразному мирозерцанию. «Сущность всякой религии, – утверждал он, – состоит только в ответе на вопрос: зачем я живу и какое мое отношение к окружающему меня миру». Однако если для Толстого, по его собственным словам, Христос и не «бог», как утверждало «учение церкви», то все же «великий учитель»; в евангелии, очищенном, правда, от лжетолкований, он «нашел истину», то есть якобы все то, «что нужно людям», – проповедь морального самосовершенствования, евангельского смирения, непротивления злу насилием.

Такое двойственное отношение великого писателя к религиозным вопросам неоднократно и необычайно остро критиковал Ленин. У Толстого «борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс», [51] – писал он, ибо Толстой явно обнаруживал «стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению». [52]

Второй, самый обширный, цикл работ, входящих в настоящие томы, составляют своеобразные «компиляции» Толстого.

Это – различные своды мыслей, собрания изречений, сборники афоризмов и т. п., принадлежащие многочисленным философам, писателям, ученым, публицистам «разных стран и разных веков».

Работа писателя над данными сборниками не была просто механической, а представляла собою тоже в известной мере творческий процесс. Это проявлялось прежде всего в том, что в них включались и собственные мысли и афоризмы Толстого. Затем комплектование изречений производилось здесь не только не случайно, но, наоборот, путем глубоко осмысленного отбора с определенных идейных позиций. И к этой стороне составительской работы Толстого вполне применимы следующие строки Лабрюйера, которые сам писатель включил в одну из этих компилятивных работ: «Выбор чужих мыслей требует работы собственной мысли». Яркий отпечаток толстовской индивидуальности лежит и на характере систематизации введенных сюда мыслей, изречений, афоризмов. Наконец, творческой была и переводческая деятельность Толстого, переводы которого отличались высоким мастерством.

Вполне естественно поэтому, что и на этих составительских работах Толстого должны были сказаться «кричащие противоречия», вообще присущие его мировоззрению и творчеству, его «сильные» и «слабые» стороны.

При создании сборников подобного рода Толстой руководствовался следующими предпосылками.

Одна из них заключалась в том, что «все лучшие люди прежнего и нашего времени» не только задумывались над вопросом о смысле жизни, но и давали сходные ответы на него, хотя и с различной степенью четкости. И если, по представлению Толстого, христианское учение изложило этот ответ с наибольшей простотой и силой, то все же и оно «не есть даже исключительное откровение Христа». Ибо, как утверждает Толстой, не подлежит никакому сомнению, что «этот самый ответ на вопрос жизни более или менее ясно высказывали все лучшие люди человечества и до и после евангелия, начиная с Моисея, Исаии, Конфуция, древних греков, Будды, Сократа и до Паскаля, Спинозы, Фихте, Фейербаха и всех тех, часто незаметных и не прославленных людей, которые искренно, без взятых на веру учений, думали и говорили о смысле жизни». [53] Отсюда широта и многообразие привлекаемого Толстым материала для своих сборников.

Вторая предпосылка, из которой исходил великий писатель при подготовке этих компиляций, это его классификация философского мышления. «Деятельность человеческого разума по отношению познания законов, управляющих жизнью людей, – писал Толстой в предисловии к одной из таких работ, – всегда проявлялась двояко. Одни мыслители старались привести в определенную связь и систему все явления и законы жизни человеческой». И к ним он причислял таких «систематизаторов», как Аристотель, Спиноза, Гегель и т. п. «Другие

же, – продолжает он, – содействовали познанию законов человеческой жизни не стройными системами, а отдельными наблюдениями над этой жизнью, меткими выражениями». [54] Среди них Толстым назывались античные «мудрецы», «составлявшие сборники изречений», и особенно французские мыслители XVII–XVIII столетий, доведшие эту форму до высшей степени совершенства, – Монтескье, Лабрюйер, Паскаль и др.

Каждый из этих типов мышления имеет, по мнению Толстого, свои достоинства и недостатки. Если первый привлекает «связностью, полнотой, стройностью», то он достигает этого лишь путем «искусственности построения», смысловых натяжек. И наоборот, второму образу мышления присуща «отрывочность», а подчас и «внешнее противоречие», но он, с другой стороны, отличается «стремительностью мысли» и «новизной».

Толстой оказывал предпочтение именно «второму роду», «главное преимущество» которого в том, что он не только не «ослабляет ум читателя», а, напротив, импульсирует его в сторону «дальнейших выводов» и «неожиданных заключений».

Замысел компиляций такого рода возник у Толстого еще в 80-х годах, и предназначались они для самого широкого круга читателей. «Надо себе составить Круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, евангелие. Это и для всех бы нужно», [55] – записывает он в Дневник 15 марта 1884 г. А еще через год с лишним Толстой не только повторяет в одном из писем ту же мысль, но и уточняет ее. «Очень бы мне хотелось составить Круг чтения, – сообщал он Черткову 4–5 июня 1885 г., – т. е. ряд книг и выборки из них, которые все говорят про то одно, что нужно человеку прежде всего, в чем его жизнь, его благо». [56] Однако план этот долго еще все не приводился им в исполнение; и три года спустя Толстой вновь писал о нем даже с сокрушением. «Вопрос о том, что читать доброе по-русски? заставляет меня страдать укорами совести. Давно уже я понял, что нужен этот круг чтения, давно уже я читал многое, могущее и должствующее войти в этот круг, и давно я имею возможность и перевести, и издать, – и я ничего этого не сделал», [57] – писал он Г. Русанову в конце февраля 1888 г.

Непосредственно к составлению этих компилятивных работ Толстой приступил лишь двадцать лет спустя после возникновения первого их замысла – в 1903 г. Но зато он уже не прекращал работу над ними до самых последних дней своей жизни, нередко работая над одним и тем же сборником по нескольку лет, а подчас параллельно и с другими работами подобного же типа.

Толстой придавал этим компиляциям многообразные формы, все совершенствуя их. Несмотря на общность идейного содержания, каждая из них отличалась друг от друга и составом включаемых фрагментов и внутренней структурой. Одни из них были стройно систематизированы, в других же, наоборот, материалы приведены без особых внешних подразделений; некоторые состояли из отрывков нескольких авторов, иные же, напротив, посвящены были одному и тому же мыслителю. При всем том, однако, эти сборники можно довольно отчетливо разбить на две основных группы.

Первую из них – и по времени возникновения и по степени сложности – составляют компиляции календарного типа. В настоящих томах к ним относятся самый ранний опыт Толстого в данном направлении – «Мысли мудрых людей на каждый день» и последовавший за ними «Круг чтения».

Выбор Толстым такого именно жанра для своих сборников обычно непосредственно связывают со случайным обстоятельством – с одним фактом биографии писателя: «Во время тяжелой болезни Л. Н. Толстого в январе 1903 г., когда жизнь его висела на волоске и он не мог отдаваться привычной работе, он все же... по привычке, ежедневно отрывая находившийся в его спальне календарь, прочитывал собранные там изречения различных великих людей. Но календарь прошлого года подошел к концу, и Льву Николаевичу, за неимением другого под руками, захотелось самому составить себе выдержки из разных мыслителей на каждый день. Ежедневно, находясь в постели, насколько позволяли ему силы, он делал эти извлечения, и результатом этого труда явилась предлагаемая читателям книга», [58] – сообщали в своей заметке первые издатели «Мыслей мудрых людей на каждый день». И эта же версия поддерживалась и в некоторых работах о Толстом. [59]

Между тем это личное обстоятельство явилось лишь внешним толчком обращения к такой форме; подлинным ее источником послужила одна из древнерусских литературных традиций, творчески воспринятая Толстым, разрабатывавшая жанр многообразных старинных сборников для чтения в определенные дни года, а именно: «Четьи-минеи», «Пролог», «Святцы», «Месяцесловы» и т. п., представляющие собою пространные и краткие жизнеописания «святых» или простые перечни их и расположенные именно в календарной последовательности по числам и месяцам года. Все они не только были хорошо известны Толстому, но и использованы им и как источник для «народных» рассказов и пьес, и в качестве материала для публицистических работ, и как образец стиля и структуры.

Сборник «Мысли мудрых людей на каждый день», представляющий собою самый ранний вариант этих компилятивных работ Толстого, в отличие от поздних был еще сравнительно невелик по составу и относительно примитивен по структуре. Он хотя и содержал изречения и произведения классиков русской литературы, сочинения писателей и мыслителей Западной Европы и Восточной Азии, античных и современных авторов, однако круг вовлеченных сюда имен был еще недостаточно широк, а число включенных мыслей каждого из них весьма скромно.

Впрочем, и здесь уже встречаются изречения как всемирно знаменитых, так и малоизвестных философов, религиозных мыслителей, писателей, ученых, – притом самых различных школ и направлений, а также извлечения из фольклорных сборников, «священных» книг и т. п. Наиболее часто приводятся тут высказывания древнегреческого философа Эпиктета и древнеримского Марка Аврелия, французского мыслителя Паскаля, английского – Рескина, китайских мудрецов Конфуция и Лао-Тзе, самого Толстого, а также выдержки из евангелия и талмуда. Наряду же с этими неоднократно повторяющимися именами тут находятся и отдельные «мысли» других «мудрых людей», таких, как Платон, Аристотель, Сенека, Кант, Шопенгауэр, Рюккерт, Гартман, Даниэль, Леббок, Бентам, Карлейль, Спенсер, Смайльс, Блекки, Спиноза, Чокке,

Лактанций, св. Августин, Рамакришна, Лютер, Гончаров, Достоевский, Ювенал, Вольтер, Руссо, Вовенарг, Род, Гёте, Шиллер, Клиггер, Рихтер, Теккерей, Гумбольдт, Вильмен. Кроме того, здесь же приведено немало русских, арабских, китайских пословиц и поговорок и, наконец, изречения из сборников «мудростей» – китайской, буддийской, браминской.

И в композиционном отношении «Мысли мудрых людей на каждый день» еще не обладали совершенной систематизацией изречений для сборников этого рода. Правда, и здесь уже все текстовые материалы разбиты были на двенадцать месяцев, а внутри каждого из них в свою очередь мысли были распределены согласно соответственным месяцам по 30 и 31 дням, в феврале же по 29 дням (с учетом високосных лет). Однако, во-первых, на каждый из дней приходилось покуда чаще всего по одному только изречению, иногда – по два-три и лишь в редчайших случаях по несколько большему числу их. Во-вторых, хотя тут и затронуты были в общем основные темы и идеи развиваемого Толстым «определенного жизнепонимания», но четкой систематизации их не было достигнуто, и только рядом стоявшие изречения в пределах одного и того же дня были более или менее связаны между собой.

Впервые выпущенные в свет в 1903 г. «Мысли мудрых людей на каждый день» неоднократно затем переиздавались и однажды даже в виде отрывного календаря.

Но и после этого Толстой не прерывал работы по дальнейшему отбору, переводу и редактированию все новых и новых мыслей из самых различных источников с целью усовершенствования первого своего компилятивного опыта. И уже в самом начале 1904 г. он записал в своем Дневнике об этих занятиях наряду с другими работами: «Занят тоже исправлением «Мыслей». [60]

Однако по существу это было не просто переработкой прежней книги, а уже качественно иным сборником – и по составу, и по характеру, и даже по объему. Он и стал известен под заглавием «Круг чтения», хотя в начале работы над ним Толстой и называл еще его по инерции «новым календарем». Толстой и прямо подчеркнул это в одном из своих писем Г. А. Русанову: «Я занят последнее время составлением уже не календаря, но Круга чтения на каждый день». [61]

Процесс работы над этой второй компиляцией оказался не только гораздо длительнее, но и более трудоемким и протекал значительно сложнее. В записях своего Дневника Толстой то отмечал, что он «очень занят Кругом чтения», то указывал, что хотя «работа подвигается, но очень ее много», что «еще много работы», так что он и «не знает, где остановится»; то Толстой сетовал на то, что общее направление нового сборника «уясняется, но еще трудно», что «чем дальше, тем больше видишь, что могло бы быть лучше». И в течение всего периода работы над «Кругом чтения» он неоднократно переходил от состояния творческой уверенности к тягостным сомнениям: то он ощущал «увлечение самой работой», чувствовал, что «это радостная работа»; то, наоборот, в ее «достоинстве сомневался, скорее склоняясь думать, что плохо». А однажды Толстой остановился даже пред мыслью, не напрасно ли расточает он остаток жизненной энергии на эту работу.

«Всё занят Кругом Чтения и боюсь, что даром трачу остатные силы», [62] – записал он в конце того же года.

И все же в результате этой напряженной и долгой работы в 1906 г. «Круг чтения» был выпущен в свет. Он значительно отличался от предыдущего сборника. Даже с чисто внешней стороны, вместо прежней тонкой книжки, «Круг чтения» представлял собою уже два очень объемистых тома. Особенно же превосходил он «Мысли мудрых людей» своим составом. Сам Толстой, лишь бегло касаясь этой стороны нового своего сборника при работе над ним, перечислил целый ряд дополнительных источников: читаю «всё это время, не говоря о Марке Аврелии, Эпиктете, Ксенофоне, Сократе, о браминской, китайской, буддийской мудрости, Сенеку, Плутарха, Цицерона и новых: Монтескье, Руссо, Вольтера, Лессинга, Канта, Лихтенберга, Шопенгауэра, Эмерсона, Чаннинга, Паркера, Рёскина, Амиеля и др.».[63] Но это только незначительная часть новых имен, вошедших в самый текст новой компиляции. Вообще же если в сборник «Мысли мудрых людей» включены всего лишь сорок один автор и восемь сборников, то в «Круг чтения» было включено свыше двухсот пятидесяти имен мыслителей и писателей, а сборных источников около пятидесяти. Притом несравнимо большее количество изречений извлекалось из работ одного и того же автора.

Во-вторых, и с внутренней стороны новая компиляция была более упорядочена, нежели первая. Прежде всего самый отбор выдержек носил здесь менее случайный характер, так как, по утверждению самого автора, «Круг чтения» был «составлен из лучших мыслей самых лучших писателей». Затем в «каждом дне» его содержалось уже значительно больше изречений, чем прежде: пять–шесть их было уже не редкостью, а обыденным явлением, иногда же их насчитывалось свыше десятка. Более организована была и классификация мыслей: все выдержки, приуроченные к определенной дате, были не только взаимосвязаны, но все посвящались одной какой-нибудь теме, причем, помимо «нумерованных» изречений, каждый из дней открывался и замыкался двумя обобщающими мыслями, игравшими роль как бы экспозиции данной темы и ее концовки. Наконец, в «Круг чтения» было введено и совершенное новшество – «Недельные чтения»; это были главным образом художественные произведения, отобранные под все тем же идейным углом зрения, содержащие проповедь морального совершенствования и принадлежавшие многим русским и иностранным писателям, в том числе и самому Толстому; рассказы эти помещались после каждых семи дней и представляли собою как бы итог за неделю.

Первое издание «Круга чтения» появилось в 1906 г. Но и эту компилятивную работу Толстой не считал пределом совершенства. Вот почему он предпринял еще две попытки в том же направлении – «На каждый день» и «Путь жизни».

Помимо календарного типа, у Толстого (как упоминалось выше) имеется и другая группа компилятивных работ, которые можно было бы назвать «сплошными». Они тоже являются сборниками изречений, но систематизированы главным образом по авторам и в меньшей мере по темам.

Эти компиляции Толстого также опирались на определенные литературные

традиции, творчески им освоенные и преобразованные. Они восходили к древнерусскому же «изборнику», озаглавленному «Пчела» и содержащему изречения античных и раннехристианских авторов, а также пословицы, притчи и т. п., и к древнегреческим, латинским, христианско-мистическим, французским и другим сборникам мыслей и афоризмов. Толстой при работе над этими своими компиляциями прямо указывал на то, что и некоторые из них он частично использовал.

Самым показательным образцом работ Толстого подобного типа может служить составленный при его ближайшем участии сборник «Избранные мысли Лабрюйера, с прибавлением избранных афоризмов и максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье». Сюда же должны быть отнесены и книжечка мыслей, озаглавленная «Для души», а также «Избранные мысли Магомета, не вошедшие в Коран», «Изречения Лао-Тсе» и различные разрозненные изречения.

Эти работы по отбору изречений и мыслей различных мыслителей не только приносили Толстому творческое удовлетворение, но он, как сам выразился в связи с одной из таких работ, «испытал» именно «при ее составлении» «благотворное чувство», которое также затем «продолжал испытывать при ее перечитывании».

Толстой понимал, что, при поверхностном взгляде, включенные им в эти сборники имена «древних и новых мыслителей разных народов» могут казаться совершенно несопоставимыми, но сам он остро чувствовал общность и сходство их идейных исканий «смысла жизни». «Я по себе знаю, какую это придает силу, спокойствие и счастье – входить в общение с такими душами, как Сократ, Эпиктет, Arnold, Паркер (странно это сопоставление, но для меня оно так)», [64] – писал он в упоминавшемся уже письме к Черткову. Каждый из месяцев в этих компиляциях, по его утверждению, заключал «в себе изложение одного и того же определенного жизнепонимания, религиозно-нравственного, из которого вытекает и руководство поведения». [65]

Внутренняя сущность этого «жизнепонимания» характеризуется в известной мере уже предметным указателем, который был составлен самим Толстым к одной из компиляций. Среди его рубрик имеются такие, которые указывают на критический, обличительный характер ряда приводимых в сборниках изречений, как, например: «Богатство», «Война», «Насилие», «Наказание», «Гордость», «Тщеславие», «Одурманивание» и т. д. и т. д. Но тут же им противостоят рубрики, свидетельствующие о религиозно-утопической трактовке многих тем, а именно: «Вера», «Дух», «Бог», «Божественная природа души», «Божественность природы человека», «Слияние своей воли с волей бога», «Самосовершенствование», «Самоотречение», «Молитва», «Покаяние», «Единение», «Юродство» и т. п. и т. п.

На компилятивных работах Толстого сказывались, хотя и по-своему, те же «кричащие противоречия», что и в его публицистических статьях на философско-религиозные и этические темы.

Так, одной из основных идейно-тематических линий сборников является

антиправительственная пропаганда, выраженная в ряде изречений. При помощи высказывания Паскаля он снимал ореол, создаваемый вокруг носителя монархической власти, саркастически подчеркивал его постоянный трепет перед угрозой революционного восстания: «Обыкновенно думают, что жизнь короля есть самая лучшая жизнь. Однако если король останется без развлечения... то он увидит свое несчастное положение, вспоминая о всем том, что угрожает ему: о неповиновении, о беспорядках, болезнях, смерти. И потому король, если он не развлекается, несчастнее последнего своего подданного». [66] Но при этом Толстой не только не призывал к эффективному низвержению самодержавия, но старался отвлечь от непосредственной борьбы с ним, ограничиваясь, напротив, лишь проповедью непротивления злу насилем. «Вот тюрьма; какой вред мне, моей душе, от того, что она стоит. Зачем мне разрушать ее, зачем нападать на людей, производящих насилие, и убивать их? Их тюрьмы, цепи, оружие не поработят моего духа. Тело мое могут взять, но дух мой свободен... А как я дошел до этого? Я подчинил свою волю воле бога», [67] – говорил он устами Эпиктета в том же сборнике.

Столь же противоречиво было отношение Толстого и к другой трактуемой в компилятивных сборниках теме – к вопросу о капиталистическом строе с его хищнической эксплуатацией. Он неоднократно и с разных сторон возвращался к нему. Например, под датой 12 сентября в тех же «Мыслях мудрых людей на каждый день» Толстой помещает изречение Рёскина, в котором бичуется кровавый «закон» капитализма, предательски маскируемый «современными сиренами» – либералами: «Сентиментально проповедуя устами заповедь о «любви к ближнему, как к самому себе», люди на деле, словно дикие звери, вцепляются когтями в этих ближних и попирают их ногами, причем, кто только может, живет трудами других». Однако тут же встречаются высказывания Гартмана о том, что это хищничество исчезнет не путем разрушения основ буржуазного строя, а «только через личное самосовершенствование», что «улучшение общественного зла может быть достигнуто тем, что люди усвоят более высокое мирозерцание и сами сделаются лучше, поступая соответственно своему мирозерцанию. И потому тщетны все попытки улучшить жизнь мира до тех пор, пока сами люди не станут лучше; улучшение каждого отдельного человека есть вернейшее средство улучшения жизни мира». [68] В сборнике «Круг чтения» Толстой устами Генри Джорджа протестует против порабощения большинства привилегированным меньшинством: «Устройство нашего мира таково, что тысяча людей, работая вместе, могут произвести во много раз больше, чем сколько могла бы произвести та же тысяча человек, работая порознь. Однако это не доказывает еще необходимости того, чтобы девятьсот девяносто девять человек делались, в сущности, рабами одного». [69] С другой же стороны, Толстой отрицает обобществление производства и социалистический переворот, а, наоборот, противопоставляет последнему реакционный евангельский «социализм», исповедуемый Эрнестом Лесиньим, который полагал, что «существует два рода социализма... Один желает, чтобы управляемый класс стал правящим; другой желает уничтожения классов. Один верит в социальную войну; другой только в дела мира... Один уже прошлое, другой – будущее». [70] Достаточно красноречивыми свидетельствами о крайней противоречивости толстовских компиляций служат и суждения включенных в них мыслителей по общетеоретическим проблемам социологии,

экономики, этики.

Весьма показателен в этом отношении день 11 апреля в «Мыслях мудрых людей на каждый день», посвященный, на первый взгляд, теме непрестанной борьбы как закону человеческой жизни, которая решается Толстым чисто идеалистически. «Жизнь как отдельного человека, так и всего человечества, – утверждает сам писатель, – есть непрестанная борьба плоти и духа. В борьбе этой дух всегда остается победителем, но победа эта никогда не окончательная, борьба эта бесконечна; она-то и составляет сущность жизни». [71]

Взаимно исключают друг друга и утверждения, посвященные проблеме социального равенства (от 7 февраля). Нарушение его признается преступлением; установление же его считается не только необходимым, но и вполне осуществимым. «Не верь тому, что равенство не может быть достигнуто, или что оно может быть достигнуто только в далеком будущем... Оно сейчас может быть достигнуто», – категорически формулируется в одном из афоризмов. Однако, противореча самому себе, Толстой тут же в другом изречении не менее категорически утверждает, что социальное неравенство может быть уничтожено не реформами и не революционным путем, а лишь «христианскими» взаимоотношениями людей между собой: «Равенство не может быть осуществлено, как это думают, гражданскими мероприятиями, оно осуществляется только любовью к богу (добру, истине) и к людям. Любовь же к богу и людям внушается людям не гражданскими мероприятиями, а истинным религиозным учением». [72]

В «Круге чтения» много говорится о преступности тунеядства и обязательности трудовой деятельности для человека как с физической, так и с социальной и моральной точек зрения. «Освобождение себя от труда есть преступление», – гласит вступительное изречение к 19 февраля и далее: «Работай постоянно, не почитай работу для себя бедствием и не желай себе за это похвалы и участия». Трижды приводятся мнения о том, что помыслы человека «должны быть направлены не на то, чтобы доставить ему покой, а чтобы дать ему силы на труд». Им резко осуждается паразитизм и безнравственность господствующих классов: «Физически невозможно, чтобы... чистая нравственность существовала в тех классах народа, которые не добывают хлеба трудами своими» (Рёскин). Однако, вместо поддержки в трудящихся воли к сопротивлению безнравственным эксплуататорам, Толстой приводит в этом же сборнике мысль Паскаля о тщете якобы всякой «мирской» борьбы вообще и о благотворном воздействии христианского упования. «Как хорошо бывает человеку, когда он истомится в напрасных поисках за благом в мирской жизни и протянет, усталый, свои руки ко Христу», – читаем здесь.

Таким образом, было бы ошибочно считать, как это обычно делается, будто указанные объемистые компилятивные работы Толстого отражают лишь слабые стороны его мировоззрения. Не будет ошибочным утверждение, что и в этих работах Толстой, «оставался глубоким наблюдателем и критиком буржуазного строя, несмотря на реакционную наивность своей теории». [73] И в этом, разумеется, состоит непреходящее значение и перечисленных сборников Толстого.

Публикуемая нами группа работ Толстого, носящая характер биографий

отдельных мыслителей, по своему типу и содержанию также примыкает к этим сборникам.

Это – небольшие по размеру заметки, предпосланные им к одной из упоминавшихся выше компиляций, а именно к «Избранным мыслям Лабрюйера, с прибавлением избранных афоризмов и максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье». Правда, по непонятным причинам об основном из этих авторов Толстой такого биографического очерка не оставил; отсутствие его, вероятно, случайно и едва ли может быть объяснено особой популярностью Лабрюйера, так как о более (как указывает сам Толстой) «знаменитом Монтескье» он счел все же необходимым написать. Зато здесь даны самостоятельные заметки о каждом из трех остальных названных мыслителей.

На первый взгляд, очерки эти носят чисто справочный характер: даты рождения и смерти, перечень основных биографических фактов, упоминание главных публицистических работ – таковы в общем сведения, даваемые в любом из этих очерков. Однако, несмотря на внешнюю краткость, в них охарактеризован идейный облик каждого из мыслителей, хотя акцент Толстым делается на наиболее близких и созвучных ему сторонах мировоззрения, моментах жизни. И, превознося, с одной стороны, критический дух большинства изречений этих французских философов, Толстой, с другой стороны, стремится подчеркнуть невысокий, при всей знатности происхождения, уровень их образованности, опрощенческие тенденции и происшедший в них под влиянием жизненных обстоятельств «духовный кризис», что, по его мнению, способствовало свежести и оригинальности их мысли.

Первая такая заметка была посвящена Толстым французскому мыслителю XVII века Франсуа Ларошфуко – аристократу по крови, но настроенному оппозиционно по отношению к господствовавшему буржуазному обществу, автору книги «Размышления или моральные сентенции и максимы», избранные изречения из которой нашли свое место в указанной компиляции.

Толстого привлекла критическая направленность этого сочинения, в котором с бесстрашной искренностью вскрывались, как рычаг всей современной человеческой деятельности, холодный «расчет», эгоизм. Толстой с восхищением писал по поводу этого: «Хотя во всей книге этой есть только одна истина, та, что самолюбие (себялюбие? – С. Б.) есть главный двигатель человеческих поступков, мысль эта представляется со столь разных сторон, что она всегда нова и поразительна».

Наряду же с этим Толстой с нескрываемым одобрением и умилением отмечал, что герцог Ларошфуко был «мало образован, но очень умен», что он был «человек очень нравственно высокий в своей жизни», что, несмотря на одолевавшие его физические страдания и личные переживания, он «подошел к последнему своему часу без удивления и противления».

Во второй из данных биографических заметок Толстой остановился на обрисовке жизни и деятельности маркиза Луки де Клапье Вовенарга – французского моралиста и литератора XVIII столетия. Он интересовался

им давно, еще в 70-х годах. Толстой восторгался «ясным и сильным сочинением» его о «свободе человека». Отдельные мысли Вовенарга и особенно полюбившееся Толстому его изречение – «Великие мысли исходят из сердца» – встречаются и во всех «календарных» компиляциях Толстого, и в его Дневниках, и в переписке. А. основное его сочинение – «Парадоксы попеременно с размышлениями и правилами» – и послужило одним из четырех источников упомянутого сборника «Избранных мыслей».

Литературные работы Вовенарга Толстой ценил прежде всего за их «парадоксальность», резко расходившуюся с общепринятыми понятиями и суждениями. Но он всячески подчеркивал «опрошенческие» устремления у этого мыслителя. Сообщая, что жизнь Вовенарга (ввиду служебных неудач и тяжелых болезней, в результате которых он должен был уехать в свое деревенское поместье) «по внешним условиям была самою несчастною», Толстой утверждает, что это, наоборот, способствовало лишь развитию в нем «высоких умственных и нравственных качеств». И точно так же, указывая, что и Вовенарг «был очень мало образован», Толстой приходит к выводу, что ни это, ни «деревенское уединение» его «не только не помешали его умственной деятельности, но, напротив, много содействовали ее самобытности».

Третий биографический очерк посвящен французскому социологу XVIII века – барону и графу Шарлю Луи Монтескье. С главным произведением его «Дух законов» Толстой внимательно ознакомился еще на студенческой скамье. Но этому и другим знаменитым произведениям Монтескье он предпочел теперь «мало замеченное и почти неизвестное» собрание его мыслей – именно за «особенный... характер спокойствия и основательности».

В теснейшей связи с только что рассмотренными заметками находится еще один мемуарно-биографический очерк – «Первое знакомство с Эрнестом Кросби». Кросби являлся американским единомышленником Толстого, и поэтому характеристика его облика дана здесь с особой силой. Толстой яркими штрихами запечатлел внешний вид и социальное положение этого «образованного, красивого, богатого, пользовавшегося хорошим общественным положением» филантропа, пожертвовавшего через Толстого «довольно большую сумму денег для пострадавших от неурожая русских крестьян в 90-х годах минувшего столетия. С трогательным волнением Толстой описывает близкий и понятный ему душевный «переворот», который пережил Кросби, став человеком «цельного христианского мировоззрения», никогда потом уже не сходя с этой позиции.

Особый цикл работ, печатающихся в настоящих томах, составляют вступительные и заключительные статьи Толстого к работам других авторов. Это – «Предисловие к книге «Жизнь и изречения Кришны», «Послесловие к статье П. И. Бирюкова «Гонение на христиан в России в 1895 г.», «Послесловие к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина» и др.

Они по содержанию напоминают собою те же публицистические работы

Толстого, затрагивающие острые вопросы современности и трактующие их в том же морально–религиозном направлении, но только в более сжатой форме.

Характерным образцом работ подобного рода является, например, «Послесловие к воззванию «Помогите!», где Толстой бесстрашно выступает, несмотря на царившую тогда политическую обстановку и свирепый цензурный гнет, против жестоких преследований секты духоборов со стороны русского самодержавия.

Толстой уподобляет эти жестокие притеснения неслыханным зверствам первобытной эпохи: он изобличает «ожесточение и слепоту русского правительства», направляющего против беззащитных сектантов «гонения, подобные временам язычников». Но, с другой стороны, Толстой отнюдь не выдвигает сколько–нибудь действенных мер против этих зверств, а ограничивается лишь апологией непротивления независимых, религиозно настроенных духоборов. Он прямо именует их «новыми христианскими мучениками», современными «учениками Христа», в смиренном поведении которых якобы происходит «произрастание того семени, которое посеяно Христом 1800 лет тому назад». Он умиляется этой «антигосударственной сектой», которая путем внутреннего сопротивления «отрицала обязанность подчинения властям», «удивительной кротостью и спокойствием, с которыми переносили эти гонения» духоборы.

Но Толстой не только выступает против бесчеловечных притеснителей духоборов, но также требует к ним чувства «христианской» любви в такой же мере, как и к самим притесняемым. Своей поддержкой этого воззвания он был, как и его составители, «руководим одним религиозным чувством желанья служить... богу и ближним, – как гонимым, так и гонителям».

IV

Наконец, в настоящий том вошли и художественные произведения.

Они, как сказано, не имели здесь самодовлеющего значения, потому что тоже были органически связаны с работами компилятивного жанра.

Поэтому по своему содержанию они носили назидательный характер, а в жанровом отношении одни из них примыкали к фольклорному творчеству, другие – к нравственно–поучительному роду.

К первому роду относится «Календарь с пословицами на 1887 год». Это уже не просто компиляция условно–календарного типа, а календарь в собственном смысле слова – на реальные дни и месяцы определенного года. Он был издан, правда, в форме книжки, но по своему содержанию распадался на два раздела, соответствовавшие лицевой и оборотной сторонам отрывного календаря. В первом разделе приведены были наименования месяцев и дней недели, числа, именные «святцы»,

перечень праздников, обозначения «восхода» и «захода» солнца. Во втором же разделе были сосредоточены именно литературные материалы – подлинные народные пословицы «на каждый день» и описания крестьянских «работ» на каждый месяц, представлявшие собою неподражаемый образец «народной» стилизации.

Особенно пословицы эти – как в отношении подбора, так и по своей тематике – носили печать все того же «определенного мирозерцания». Толстой вводит сюда пословицы и поговорки, вскрывающие социальное противоречие между богатством и бедностью. Но он здесь не только не стремится подбором других пословиц указать на иные стороны народного мировоззрения, но наоборот, утверждает преимущество бедности перед богатством. «Богатый в неволе у прихотей своих» (10 III), «Богатому не спится, он вора боится» (29 I); в противоположность же этому – «Богачи едят калачи, да не спят ни днем, ни в ночи, а бедный чего ни хлебнет, да заснет» (1 VIII), «Бедному горе, а богатому вдвое» (8 I), «Богатство гинет, а нищета живет» (29 V), «Богатство с золотом, а бедность с весельем» (19 III) и т. д.

Столь же противоречивы здесь и сочетания пословиц, в которых отражены сетования народных масс против социального тунеядства, эксплуатации труда, барского землевладения и т. п. Так, с одной стороны, эти общественные несправедливости осуждаются в таких пословицах, как: «Белые ручки чужие труды любят» (7 XII), «Богач деньги бы ел, кабы его убогий не кормил» (20 VII), «Не тот хозяин земле, кто по ней бродит, а тот, кто по ней с сохой ходит» (6 XII) и пр. С другой стороны, Толстой приводит многочисленные пословицы, проповедующие непротивление злу насилием и отчасти дословно знакомые по употреблению их в толстовской публицистике: «Сила не в силе, а в правде» (25 X, ср. также в статье «Христианство и патриотизм»), «Добро помни, а зло забывай» (14 VIII) и т. д.

В «Календаре» встречается немало пословиц, направленных против современного правосудия: «Хоть бы все законы пропали, да люди правдой бы жили» (18 IX), милитаризма: «Ни моря без воды, ни войны без крови» (16 IX), клерикалов: «Колокольный звон не молитва» (20 XII) и т. п. Однако рядом же с ними имеется ряд пословиц морально-религиозного характера, – о приоритете якобы «духа» над «плотью», например: «Душа тела дороже», «Что телу любо, то душе грубо», «Телу простор, душе теснота» (17 IX, 22 XI) и т. п.

Художественные рассказы, сказки, легенды, введенные Толстым в его сборники, носят также нравственно-поучительный характер. Они предназначались для «Детского круга чтения», издание которого не состоялось, где должны были служить иллюстрацией к философским «изречениям» за неделю. Вследствие этого и все такие произведения, отличаясь друг от друга и по теме и по форме, представляли собой художественное воплощение той или иной из основных идей Толстого и отмечены, стало быть, теми же противоречиями, что и остальные материалы настоящих томов.

Правда, большинство из этих недельных чтений не оригинально, а заимствовано Толстым из литературного наследия других писателей. Так, «Бедные люди» явились прозаическим, его переводом одного из

стихотворных произведений В. Гюго; «Царское новое платье» – переработкой сказки Андерсена; «Шут Палечек» – переделкой рассказа словенского писателя. А. Шкарвана. Но они не просто, разумеется, переведены были Толстым, а настолько им переработаны, что в еще большей степени, нежели самые «изречения», носили черты его гения.

Подводя итог всему сказанному, можно прийти к следующему выводу.

Толстой под влиянием революционных событий в России, с неустрашимым мужеством восставал против жестокостей самодержавия и продажности бюрократии, разоблачал несправедливость состояния землевладения в России и хищническую сущность капиталистической эксплуатации, клеймил пустоту светской среды и лицемерие либералов, вскрывал тупость военщины и ханжество официальной церкви.

Но все более и более углубляя свое критическое отношение к оценке «сущего», Толстой продолжал оставаться беспомощным утопистом в оценке «должного». Вскрыв сущность зла он не указал, однако, подлинных путей для его преодоления. Толстой отстранился от активной политической борьбы, отрешился от участия в строительстве новой жизни, противопоставив этому проповедь «неучастия в зле», теорию «неделения», как путь к осуществлению своего патриархально-утопического идеала.

И Ленин не только вскрыл эти «сильные» и «слабые» стороны в творчестве Толстого, но и дал им также точную политическую оценку. Он отмечал, что «своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода». [74] Но вместе с тем предупреждал: «всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред». [75]

Подлинное значение публицистических работ Толстого, как и всех произведений, включенных в настоящие тома, состоит не в тех ошибочных патриархально-утопических идеалах, которыми пронизана каждая из них, а в огромной силе их сокрушительной критики буржуазного общества, в том, что эта критика безусловно сохранила непреходящий характер и по сию пору.

Проф. С. М Брейтбург

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора делаются с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * при названиях произведений означает, что печатается впервые.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Л. Н. Толстой. Фотография В. Г. Черткова 1905–1910 гг. между стр. IV и V.

Примечания

1

Сельский вестник, 1893, № 41.

2

[Да здравствует Россия! Да здравствуют русские!]

3

«Новое время».

4

«Новое время». Октябрь 93 г.

5

[Бульон из дичи, маленькие пирожки.

Мусс из парижских омаров.

Вырезка по-беарнски.

Фазаны à la Перигор.

Салат из трюфелей с шампанским.

Дичь по-тулузски.

Русский салат.

Фрукты по-тулонски.

Ананасное мороженое.

Десерт.]

6

[Суп ливонский и сент-жерменский.

Зефир Нантюа.

Вареная осетрина по-молдавски.

Грудинка из молодого оленя]

7

[старое бургундское, шампанское Моет]

8

[реванш]

9

Так мне известен следующий протест студентов, посланный в Париж, но

не принятый ни в одной газете:

«Открытое письмо к французским студентам.

Недавно кучка московских студентов юристов, с инспекцией во главе, взяла на себя смелость говорить от лица всего московского студенчества по поводу тулонских празднеств.

Мы, представители союза землячеств, самым решительным образом протестуем как против самозванства этой кучки, так и по существу против происшедшего между нею и французскими студентами обмена приветствий. Мы тоже смотрим с горячей любовью и глубоким уважением на Францию, но смотрим так на нее потому, что видим в ней великую нацию, которая прежде постоянно являлась для всего мира глашатаем и провозвестником

великих идеалов свободы, равенства и братства, которая была первою и в деле отважных попыток воплощения в жизнь этих великих идеалов, и лучшая часть русской молодежи всегда была готова приветствовать Францию как передового воина за лучшее будущее человечества. Но мы не считаем такие празднества, как кронштадтские и тулонские, подходящим поводом для подобных приветствий.

Напротив, эти празднества знаменуют собой печальное, но, надеемся, временное явление, – измену Франции своей прежней великой исторической роли: страна, призывавшая когда-то весь мир разбить оковы деспотизма и предлагавшая свою братскую помощь всякому народу, восставшему за свое освобождение, теперь воскуряет фимиамы перед русским правительством, которое систематично тормозит нормальный, органический и живой рост народной жизни и беспощадно подавляет, не останавливаясь ни перед чем, все стремления русского общества к свету, к свободе и к самостоятельности. Тулонские манифестации – есть один из актов той драмы, которую представляет созданный Наполеоном III и Бисмарком антагонизм между двумя великими нациями – Францией и Германией. Этот антагонизм держит всю Европу под ружьем и делает вершителем политических судеб мира русский абсолютизм, всегда бывший опорой произвола и деспотизма против свободы, эксплуататоров против эксплуатируемых. Чувство боли за свою страну, сожаление о слепоте значительной части французского общества – вот какие чувства вызывают в нас эти празднества. Мы вполне убеждены, что молодое поколение Франции не увлекается Национальным шовинизмом и, готовое бороться за тот лучший социальный строй, к которому идет человечество, сумеет отдать себе отчет в настоящих событиях и отнестись к ним надлежащим образом; мы надеемся, что наш горячий протест найдет себе сочувственный отклик в сердцах французской молодежи.

Союзный совет 24-х объединенных московских землячеств».

[В тот момент, когда русская эскадра покидает Францию, мне хочется высказать вам, насколько я тронут и благодарен за горячий и блестящий прием, который встретили мои моряки повсюду на французской территории. Выражения живой симпатии, которые проявились еще раз так красноречиво, прибавят еще новые узы к тем, которые соединяют две страны, и послужат, я надеюсь, к укреплению всеобщего мира, цели их постоянных усилий и желаний.]

11

[Депешу, за которую я благодарю ваше величество, я получил в тот момент, когда я покидал Тулон, чтобы вернуться в Париж. Прекрасная

эскадра, на которой я имел удовольствие приветствовать русский флаг в французских водах, дружеский и радушный прием, который ваши храбрые моряки встретили повсюду во Франции, блестяще доказывают еще раз, какая искренняя симпатия соединяет наши две страны. В то же время они вселяют глубокую веру в то благодетельное влияние, которое могут оказать две большие нации, преданные делу мира.]

12

[по молчаливому соглашению]

13

[Долой Германию!]

14

[если хочешь мира, готовься к войне. Империя – это мир, республика – это мир.]

15

16

[После того как было подавлено восстание коммуны, Франция успокоилась. Сейчас же после войны она принялась за работу. Она заплатила немцам без затруднения громадную военную контрибуцию в пять миллиардов. Но Франция потеряла свою военную славу во время войны 1870 года. Она потеряла часть своей территории. Более полутора тысяч человек, которые жили на верховьях и устьях Рейна и Мозеля и которые были настоящими французами, были вынуждены сделаться немцами. Но они не подчинились своей судьбе. Они ненавидят Германию; они постоянно надеются снова стать французами. Но Германия дорожит своими завоеваниями, и это великая страна, жители которой искренне любят свою родину и солдаты которой храбры и дисциплинированы. Чтобы отнять у Германии то, что она у нас взяла, нам нужно быть хорошими гражданами и хорошими солдатами. Чтобы вы сделались хорошими солдатами, учителя ваши учат вас истории Франции. История Франции показывает, что в нашей стране сыновья всегда мстили за несчастье своих отцов. Французы во времена Карла VII мстили за своих отцов, побежденных при Кресси, Пуатье, Азинкуре... А вам, детям, воспитанным теперь в наших школах, надлежит мстить за ваших отцов, побежденных при Седане и Меце. Это ваша обязанность, громадная обязанность вашей жизни. Вы должны всегда думать об этом]

17

[«Размышления о VII книге»,]

18

[кого же, черт возьми, здесь обманывают?]

19

[Это можно сделать только так,]

20

[– Скажите ему, что мы любим русских,]

21

[– О, добрый человек!]

22

[«Германия, Германия выше всех»,]

23

[Разделяй и властвуй.]

24

В печатном тексте этой статье посвящена гл. III.

25

Лесков имеет в виду франко–русские торжества.

26

«Письма Толстого и к Толстому», Гиз, 1928, стр. 152.

27

Так Толстой называл сокращенно статью «Христианство и патриотизм».

28

Берта фон Зуттнер (1843–1914) – немецкая писательница, пацифистка, издательница журнала «Die Waffen nieder» («Долой оружие»).

29

«Религия и нравственность».

30

Переводчикам.

31

В Записной книжке Толстой среди записей от конца декабря 1893 г. и начала февраля 1894 г. имеется ряд мыслей к статье (см. т. 52, стр. 252–253).

32

См. по этому поводу письмо Толстого к нему от 5 января 1894 г., т. 67, стр. 16.

33

Письмо Толстого к Тёрнеру неизвестно.

34

См. письма Толстого к Черткову от 17 марта, 7 и 12 мая 1894 г. и Черткова к Толстому от 3 мая 1894 г. (т. 87, стр. 263, 275, 276 и 277).

35

См. Н. Н. Апостолов, «Лев Толстой и русское самодержавие», Гиз, стр. 121–122.

36

Часть этих заглавий была, очевидно, вписана в предшествующих рукописях, так как первый лист неоднократно переключивался.

37

Страницы и строки настоящего издания.

38

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293.

39

Т. 39, стр. 73.

40

Т а м же, стр. 74.

41

В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.

42

Там же, стр. 323.

43

В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 294.

44

См. тт. 28, 34–36.

45

В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 167.

46

Т. 39, стр. 52.

47

Там же, стр. 54–55.

48

Т. 11, ч. III, гл. V.

49

Т. 39, стр. 12.

50

Т. 39, стр. 115.

51

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 295.

52

Там же, т. 15, стр. 180.

53

Т. 39, стр. 119.

54

Т. 40, стр. 217.

55

Т. 49, стр. 68.

56

Т. 85, стр. 218.

57

Т. 64, стр. 152.

58

Л. Н. Толстой. Мысли мудрых людей на каждый день, изд. Посредник, М. 1903.

59

П. А. Буланже, Он жив – «Солнце России», 1912, № 145; К. С. Шохор-Троцкий, «Круг чтения» и его краткая история – «Толстой. Памятники творчества и жизни», т. 2, стр. 196.

60

Т. 55, стр. 3.

61

Т. 75, стр. 168.

62

Т. 55, стр. 99.

63

Т. 75, стр. 168–169.

64

Т. 85, стр. 218.

65

Т. 43, стр. VII.

66

Т. 40, стр. 162.

67

Там же, стр. 134.

68

Т. 40, стр. 214.

69

Т. 41

70

Т. 41.

71

Т. 40, стр. 111.

72

Т. 41.

73

В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 136.

74

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302.

75

Там же, т. 17, стр. 33.

